

Часть I. МЕТОДОЛОГИЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ИСТОРИИ

Аллан Мегилл (США)

Роль теории в историческом исследовании и историописании

Историки часто демонстрируют значительное, хотя и несколько пассивное и подспудное отвращение к теории, неприятие самого процесса теоретизирования. Нельзя отрицать напряженности в отношениях историка и теоретика, поскольку задача историка, которая заключается в реконструировании специфических исторических контекстов, противопоставлена задаче теоретика, которая включает в себя призыв к попытке выхода за пределы любого контекста. Тем не менее, в своем выступлении я буду защищать тезис о том, что теория играет важную роль в историческом исследовании и процессе написания истории. Ее функции заключаются в следующем:

1. Теория способна отсекая лишнее, придавать концентрированное выражение эпистемологическому методу исследования прошлого. Коллингвуд однажды высказал замечание такого рода: единственный способ познать, что составляет правильный исторический метод – это на практике учиться быть историком. Я согласен с тем, что практически никто не сможет стать историком, иначе, чем проводя самостоятельное историческое исследование и воспринимая критику экспертов в этой области. Тем не менее, теоретические формулировки обладают полезным свойством или преимуществом подкреплять практику. Постольку – поскольку и в той степени, в какой историографический метод фокусируется на эпистемологических вопросах, можно сказать, что метод имеет всеобщее значение, если он вообще справедлив.

2. История отличается от многих других дисциплин тем фактом, что историческое описание излагается обычным языком, а не представляет собой особый технический «жаргон». В этом кроется причина привязанности историков к общим мнениям и взглядам, свойственным их сообществам, среде происхождения (укорененности в этих предрассудках). Функция теории – предоставить точку зрения, благодаря которой становится возможным поставить под вопрос эти заимствованные допущения. Хотя универсалистски ориентированные теории могут быть также плохо обоснованными, как и частные предрассудки отдельных сообществ, обращение к теории создает отправную точку, отталкиваясь от которой можно разрушить предрассудки или хотя бы показать относительный характер спорных вопросов.

3. Теория вносит свой вклад в историческое исследование, поскольку служит источником разработки новых тем и подходов. Здесь

функция теории имеет позитивный характер. В отличие от той функции, которая разбиралась выше (в пункте 2), есть масса примеров тому, как теория вносит свой вклад в историографию именно таким образом. Влияние марксистской мысли на историографию после 1890 года широко известно: благодаря воздействию марксизма в историографическую традицию, которая прежде была политической по своей тематике и нарративной по подходу, вошли проблемы классовой теории и подходы, целью которых являлось раскрытие структурирующих аспектов экономической жизни. В период между 1920–60 гг. веберовские понятия о бюрократии, рационализации, статусе и харизме, наряду с другими темами, также стали расхожей монетой среди думающих историков. В 1950–60 гг. теории социологии – науки о социальном (такие как теория модернизации) и ее методики (регрессивный анализ и другие приемы статистики) стали влиятельными в исторической дисциплине. В более близкий к нам период среди историков обрели многих последователей К. Гирц с его акцентом на восприятие культуры как средоточия, сплетения смыслов, М. Фуко, с его приоритетом исследования власти, сексуальности и доминирования, и Бурдьё с его представлениями о концепте культурного капитала, настаивавший на том, что культуру следует рассматривать просто как практику.

Но мы должны обратить внимание на возможную потенциальную опасность, которая кроется здесь. Речь идет о том, что нестойкие, легковверные и некритичные неопиты могут принять дискуссионные теории излишне серьезным образом. Легко склониться к тому, что некоторые предпочитаемые теории – такие как теория капиталистического развития Маркса, концепт рационализма в интерпретации Вебера и т.п. – действительно совершенно истинны. Именно по этой причине в историческом исследовании и историописании необходимым теоретическим аспектом должен быть автокритицизм, саморефлексия. Здесь выступает на первый план теория в том смысле, как это было рассмотрено в пункте 1. Можно сказать, что теории (в смысле и функциях, рассмотренных в пункте 1 или 2) должны быть применены, развернуты строем против теории в значении, указанном в пункте 3.

Если историк стремится нести некую «эпистимологическую» ответственность за исследование, то она/он не может удовлетвориться надуманными подходами, причинно-следственными взаимосвязями, выведенными из теорий (об этом см.: Мегилл А. Историческая эпистемология. М.: Канон+, 2007. Гл. 5. Раздел 2. Проблема исторической эпистемологии: что соседи знали о Томасе Джефферсоне и Салли Хемингс?). Короче говоря, и суммируя: теория должна быть использована против теоретизирования, если применение теории в исторических исследованиях и сочинениях останется узаконенной практикой.

4. До сих пор я рассматривал то, как теория вносит вклад в историческое исследование, но верно и то, что история сама может влиять

на теорию. Пожалуй, наиболее убедительный пример представляет собой работа о структуре научной революции Томаса Куна (1962), которая предлагает теорию развития науки, частично выводимую из принципов исторического исследования. Теория может заявить о себе и быть апробирована и тестирована только применительно к отдельным областям эмпирической реальности (некоторые закономерности и общие места которой теория и пытается высветить).

Фридрих фон Петерсдорф (Германия)

**Переписывание истории:
историографическая необходимость и вопросы эпистемологии**

По различным причинам историю постоянно переписывают. Например, новые интерпретации исторических событий возникают, когда (а) переоценка известного материала приводит к новым результатам; (b) обнаруживаются новые документы; (c) дополнительные вопросы дают другой угол зрения; (d) последующие поколения задают другие вопросы. Более того, как указано Артуром К. Данто в его книге «Аналитическая философия истории» (1965), нарративные предложения историков «относятся по крайней мере к двум разделенным во времени событиям, хотя они описывают только самое раннее из двух». Например, можно говорить о 1618 г. как о начале Тридцатилетней войны (событие А), держа в уме мирные договоры 1648 г. (событие В).

Причины переписывания истории можно объяснить следующим образом. Переоценка предшествующих достижений (а): историк, принявший теорию, наилучшим образом объясняющую и помещающую определенное событие в контекст, может впоследствии отказаться от нее, поскольку необходимым оказывается принять к сведению другие причины, особенно если для какого-либо из объяснений не хватает подтверждающих его данных. Появление новых документов (b): историк, пришедший к определенным выводам относительно интерпретации событий прошлого, может оказаться вынужденным пересмотреть свои оценки просто потому, что стали доступными архивные данные, к которым раньше не было допуска. Возникновение новых вопросов (c): принятые ранее выводы относительно хода событий могут измениться, если известные данные рассматриваются под другим углом. Новые вопросы, задаваемые последующими поколениями (d): хорошо известные исторические факты могут рассматриваться в новом контексте (например, интерпретация международных отношений и торговли как процессов глобализации, или же рассмотрение национальных движений XIX века с транснациональной точки зрения). Конечно, не всегда можно четко провести грань между этими четырьмя аспектами исторической переоценки, которые в общем сводятся к появлению новой информации или же возникновению новых вопросов.

Размышления Данто о переписывании истории представляются, однако, более сложными, затрагивающими эпистемологические проблемы. Принимая их во внимание, следует заключить, что любой анализ исторического события А рано или поздно будет заменен другим его истолкованием – поскольку со временем историки будут рассматривать более раннее из «двух событий, разделенных во времени» в соотношении с иным, более поздним, событием.

Даже если бы вопросы историков и историческое знание оставались неизменными (чего, конечно же, не происходит), историю все равно переписывали бы, ведь всегда появляется новое событие, относительно которого изучают прошлое. Это не значит, что историческое исследование – просто вопрос постоянно изменяющихся временных отношений. Скорее дело в том, что выбор события В, относительно которого рассматривается событие А, зависит от смысла, придаваемого ходу истории или определенным историческим событиям (как результата исторического опыта или существующих традиций). Следовательно, исторические исследования в силу методологических и эпистемологических причин – это постоянный процесс переписывания истории.

Возникает вопрос, следует ли анализировать эту историографическую необходимость и ее методологические аспекты, и как это делать. На данный момент существует по крайней мере два теоретических подхода к теме переписывания истории. Во-первых, каким образом можно, благодаря глубокому осмыслению необходимости переписывания истории, включить данные соображения в исторические тексты? Далее, поскольку переписывание истории ставит такие эпистемологические вопросы, как временная действительность исторической истины, необходимо ответить на вопрос, каким образом следует об этом рассуждать.

Задача доклада – показать, что факт постоянного переписывания истории не получил пока еще подобающей оценки. Это, в свою очередь поможет лучше понять пределы и возможности историографии.

В. Е. Камаев (Ивановский гос. энергоуниверситет)

М. А. Кукарцева (Московский гос. университет путей сообщения)

История: *Wissenschaft* и/или *Bildung*?

Разделы исторической практики – историческая эпистемология, онтология, историческое мышление, способы адресации историков к прошлому – наполняются разным значением в зависимости от того, что называть сущностью истории: культурологические, социальные, политические концепции истории, гипотезы «нарративов прошлого», воссоздания психологических структур истории и пр. На наш взгляд, весь этот массив мнений можно свести к двум версиям древней дисциплины: практическому знанию в форме нарративного объяснения того, каким образом разного рода вещи (исторические объекты) становятся

тем, что они есть; и теоретическому знанию, пробуждающему воображение и рефлексию над экзистенциальными и моральными проблемами. Первое – это *Wissenschaft*, «научная» история, формулирование законов социальной жизни в духе позитивизма. Второе – *Bildung*, акцентирование культурного развития, близкое к литературе, из которого извлекается знание, возможно, гораздо более важное, чем знание самого исторического объекта, но с точки зрения *Wissenschaft* эпистемологически сомнительное. Если это две равноправные версии одной дисциплины, то почему *Wissenschaft* нередко относят к профессиональной историографии, а *Bildung* – к непрофессиональной (социальная память, искусство, популярная историография и пр.)? Можно ли считать, что *Bildung* выражает анти-эпистемологическую тенденцию в исторической дисциплине? Что же, в конечном итоге, является целью исторического исследования: дальнейшее развитие знания самого по себе, теория, или улучшение жизни, практика?

Установление отношений между *Wissenschaft u Bildung*, существенных для всего социального-гуманитарного знания, может дать ответы на многие вопросы. Но между *Wissenschaft u Bildung* сложно выбирать, они не релятивны, а исторический текст может функционировать по-разному. *Wissenschaft* необходимо для *Bildung*, хотя бы в качестве фактографической основы, а вот обратное не очевидно, как показали гегельянская и марксистская концепции прошлого. Сложность в движении исторического знания нашего времени заключается в том, что *Wissenschaft* постепенно, но неуклонно сворачивается, и *Bildung* остается отчужденным от *Wissenschaft*, что ведет к некорректности, в том числе эпистемологической, в ряде областей исторического знания. Например, в культурной истории исследование сосредоточено в большей степени на анализе культурного процесса, чем на его содержании. Что может стать глубинным основанием истории сегодня: линия *Bildung*, линия *Wissenschaft*, их дихотомия или их со-существование? От ответа на этот вопрос зависят характер исторической эпистемологии и понимание историографической истины.

На наш взгляд, концепция истории как *Bildung*-процесса в сегодняшний момент существования дисциплины весьма плодотворна. Конечно, история как *Bildung* и история как *Wissenschaft* не представляют собой жесткую оппозицию, но именно *Bildung* выражает сущность наиболее значимых обобщений эмпирического материала и теоретических гипотез в историческом знании.

Bildung (мы отвлекаемся от эволюции всего спектра значений этого термина), обозначает процесс артикуляции (изменения, сохранения, фиксации) идентичности субъекта в соответствии с историей цивилизации. Этот процесс самокультивирования вписан в отношения между разумом и культурой. Безусловно, человек не может формировать себя согласно или в соответствии с прошлым, но он должен учитывать его в своей самореализации, поскольку прошлое – это все еще часть того самого мира, в котором живет и функционирует реальный субъект. В

этом смысле концепция *Bildung* применительно к истории может быть рассмотрена в культур-антропологическом значении как целостное формирование человека в процессе социоисторического развития (степень включенности индивида в социальную жизнь, повышающая его адаптационные возможности; проблема конструирования и сохранения коллективной идентичности; преодоление локальности и ситуативности мышления; осмысление собственного исторического опыта и традиции; проблема использования общего опыта культурно-исторических изменений и форс-мажорных исторических обстоятельств и пр.).

Bildung как культура личности и общества, государства и нации, вводит индивида в историю и показывает ее ему. Здесь *Bildung* выступает как профессиональная историография. Самые общие теории истории и самые конкретные приемы ее анализа глубоко погружены в культуру и повседневную жизнь людей. История давно перешла от исследования национальных государств к изучению персональности. Как *Bildung*-процесс она предлагает экзистенциальный критерий верификации реальности прошлого, что важно, например, в контексте дискуссии об эффективности его меморативных репрезентаций. Хотя живая память не стала пока заслуживающей доверия базой исторической репрезентации, ее свидетельства не заставляют историков формулировать утверждения, вступающие в противоречие с другими свидетельствами, и нарушать эпистемологические правила историописания. Наоборот, эти правила развиваются в *Bildung*, что позволяет историкам хотя бы отчасти отказаться от своих претензий на бесконечное «переткрытие» прошлого и редуцировать проблему выбора между различными историческими интерпретациями к разногласиям в политике. Как *Bildung*-процесс история также дает возможность оптимизировать межкультурную коммуникацию, избегая крайностей гипостазирования «различий» в поисках оснований «культурных идентичностей».

И. Л. Зубова (Ульяновский ГУ)

Статус исторической эпистемологии в науке

Проблема научности исторического знания упирается в недостаток теорий, обеспечивающих создание объяснительно-проективных схем деятельности. Многовариантное, поликонфигуративное, полисемантическое, представленное множеством различных концепций историческое знание не укладывается в завершенные логические системы и бросает вызов классическим образцам научности знания. Это обстоятельство наталкивает исследователя на осмысление организации научного знания как открытой и динамической (в синергетическом смысле) системы и позволяет по-новому представить содержательные моменты исторической эпистемологии и ее статуса в науке.

В буквальном значении термин «эпистемология» означает учение о знании, о бытовании знания как такового. Говоря о бытовании знания, мы имеем в виду не столько его вторичные способы бытия (включенность в человеческую деятельность), сколько его статус в ментальной жизни. Речь идет о природе знания как о рождающейся реальности, являющей собой динамику ментальной жизни в ее доинституционализированной форме бытия.

Греческая *epistemologia* – термин, обозначающий особый способ бытия знания в его знаково-символической форме выражения, о чем свидетельствует в нем приставка *epi* (обозначает нечто стоящее на, над, сверх, при, и после). В Новое время утвердилось значение знания как формы выражения внеположенной ему реальности, что соответствует парадигме познания и знания, основанных на оппозиции «субъект-объект». В греческом мировидении знание (от *eidenai* – «знать», по-гречески видеть лик непотаенного) имеет актуальную форму бытия. Эпистема – закодированное в знаково-символической форме видение, в котором она выступает в качестве обозначающего увиденного. В данном случае трактовка знания осуществляется в оппозиции двух его форм – актуальной и эйдетической. Эпистемология – это учение о различных формах существования знания. Знание осмысливается как динамическая реальность, включаемая в ментальную жизнь человека.

Знание в актуальных формах его осуществления – особая реальность, подлежащая осмыслению. В доинституционализированных формах бытования она имеет свою меру, в которой и через которую она себя являет. Приоткрывающиеся моменты и стороны данной реальности меняют содержание «учения» о ней – эпистемологии. Это касается, прежде всего, учения о динамике знания (имея ввиду его актуальные состояния). Речь идет о двух динамиках – знания и учения о нем. Фактически говорится о соотношении и связях двух форм существования знания, актуальной и объективированной. Связь двух состояний знания заключается не столько в последовательности – актуальное, потом объективированное (и, наоборот), сколько в одновременном их существовании в данный момент времени, в настоящем.

Пространственно-временная организация при ближайшем рассмотрении оказывается недостаточной для выражения динамики, единства и целостности. Поскольку нас интересует статус эпистемологии в исследовании реалий, представляемых в знаниях, то мы должны, в знаниевых образованиях выявить присутствующие «структуры» энергетического содержания. Динамика знаниевых образований – презентант динамики описываемо-представляемых реальностей. Постоянно реорганизуемый мир дискретностей (каким он дан нам в восприятии) континуален. Перед нами континуальная динамика и мы в ней. В динамике разыскивается собственно историческое, данное нам через объек-

тивированные формы существования универсальной динамики, какими в знании оказываются различные артефакты мыследеятельности.

Поэтому нужно начинать писать Историю с исследования ментальных состояний пишущего. Нам придется вычитывать из структур ментальности все то, что актуализировано ею и дано нам в качестве артефакта, представляющего нечто когда-то случившееся. История в этом случае – «вечное теперь», в котором ментальность, воплощаемая в артефактах, актуализирует их содержание. Вопрос «об истории» – это вопрос об организации и одновременно шифровке, объективации смысловых структур в состояниях ментальности, непосредственно реализующейся в актах сознания «историка», любого размышляющего человек, в мыследеятельности которого имеют место процедуры актуализации объективированного и объективация актуального.

Опознание информационных кодов, представленных в виде артефактической реальности, организованной во временной последовательности – история в ее традиционной трактовке. Поэтому историческая эпистемология вполне уместна и в качестве стратегии научного поиска хотя бы уже потому, что в динамике знания усматривается динамика ментальных состояний через актуализацию не менее динамичной артефактической реальности. Главным же в исторической эпистемологии, по-моему, является, поиск уникальной формы организации когнитивных образований (в частности знаний).

Л. А. Бурганова (Казанский ГТУ)

Эпистемологический поворот в социогуманитарном знании: от пророчества к экспертизе

За последние тридцать лет произошли серьезные изменения в социогуманитарном знании, затронувшие, прежде всего, сферу эпистемологии, которая стала ассоциироваться с постмодернизмом, семиотикой, постструктурализмом, деконструктивизмом. Сам термин «постмодернизм» фиксирует внимание на отрицании предшествующей интеллектуальной традиции общества модерна. Теоретики постмодернизма (М. Фуко, Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, Ж. Лиотар и др.) связывают его, прежде всего, со специфическими изменениями в эпистемологической ситуации, с отказом от попыток систематизации этого мира. М. Фуко указывает на подрыв эпистемологической безопасности науки модерна, покоившейся на вере в достижимость объективного, универсального знания, способного определить направления действий на пользу или во блага человечества. М. Фуко отмечает, что претензия науки модерна на обладание абсолютной истиной долгое время позволяла ей решать центральную философскую и социальную проблему согласования знания и власти (или теории и практики). Расплатой за «тотальные» прогресси-

стские проекты стал исторически беспрецедентный риск – угроза тотального уничтожения человечества, экологической катастрофы.

Смена познавательных ориентиров, по Фуко, поставила под сомнение самонадеянную уверенность науки в способности постичь суть вещей и достичь объективной истины. Привычное понимание истины с позиций постмодернизма вообще выглядит сомнительным. Истина – эффект дискурса, который в целом не может быть ни истинным, ни ложным, поскольку истина всегда зависит от контекста и действующих правил. Это не означает факта отсутствия истины, скорее, признание, что истина является дискурсивно зависимой, что делает дискурсы несоизмеримыми. Истинностные суждения в принципе неразрешимы вне или между дискурсами. В таком случае теоретическое знание уже не предстает как эпистемологическая конструкция, обязательно соотносимая с истиной или реальностью. Метод, по замечанию Р. Барта, «ни в коем случае не может быть эвристическим, имеющим целью расшифровку и получение известных результатов» [Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 566]. Поборники новой эпистемологии стремятся не конструировать тотальности или какие-либо макротории (метанарративы), а обеспечить бесконечное «рассеивание» смыслов. Истина предстает в качестве множественной, изменчивой, относительной, исторически и социально обусловленной. Тем самым выстраивается новая модель социального знания, не связанная с классическим идеалом научности – без истины и кумуляции знания.

Сегодня социальная теория растается со своими претензиями на законченное объяснение социальной реальности. Она становится способной предлагать не проекты «светлого» будущего согласно социальным законам, а модели конкретных состояний на ближайшую перспективу, разрабатывать социальные технологии. Социальные теоретики выступают все чаще не в качестве пророков, а как эксперты, специалисты, рекомендации которых адресованы не только политикам, но и заказчикам, ориентирующимся на реализацию конкретных проектов.

В концепции теоретиков феноменологической социологии знания Т. Лукмана и П. Бергера впервые было обращено внимание на роль экспертов в конструировании социальной реальности [Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995]. Эксперты – особая социальная группа, которая занимается определением социальной реальности. Они претендуют на новый статус, но не на всеведение, они осуществляют экспертизу относительно конечных определений реальности как таковой. Этот подход получил развитие в концепции теоретика «общества риска» У. Бека, указавшего на изменение роли экспертного знания в целом. Институт экспертов превращается в политически ангажированное научное сообщество, определяющее уровень приемлемого риска для общества. Эксперты систематически скрывают или искажают информацию о рисках, к тому же борьба между различ-

ными группами экспертов затрудняет оценку истинного состояния среды обитания и поиск адекватных решений [Beck U. Ecological Enlightenment. Essays on the Politics of the Risk Society. New Jersey, 1995].

Экспертная функция – прибыльное дело, поэтому повсеместно появляются разнообразные независимые исследовательские центры и в России, продающие экспертные услуги, прежде всего за осуществление прикладных исследований. Отсутствие серьезных заказов на проведение теоретических разработок со стороны государственных и коммерческих структур ставит социальное знание в униженное положение и не способствует развитию теоретического уровня. Последствия этого губительны не только для науки, но и для всего общества.

А. А. Линченко (Липецкий ГТУ)

Историческая эпистемология и коммуникативная теория Ю. Хабермаса

Под эпистемологией традиционно принято понимать философско-методологическую дисциплину, в которой исследуется знание как таковое, его строение, функционирование и развитие. Историческая эпистемология в этой связи предстает как своеобразное «знание об историческом знании», «вторичная рефлексия» по поводу мышления исследователя, анализирующего исторические факты. Именно на данном этапе исторического исследования и формируется целостность исторического сознания (важнейшая задача как исторической науки, так и философии истории). Вопрос состоит в том, как понимать подобную целостность. Как увязать воедино истину историков, общечеловеческое понимание исторических фактов, а также историческую правду, имеющую этнические и национальные корни? Не стоит забывать и об эстетических образах истории, истории как нарративе.

Формирование целостности исторического сознания также связано с трудностью синтеза и осмысления границ различных эпистемологических стратегий, активно проникавших в XX в. из философии, культурологии и социологии. Феноменологический и экзистенциальный анализ субъекта, аксиологический подход неокантианцев, психоанализ, постпозитивизм, герменевтика Гадамера, а также постмодернистские и постструктуралистские прочтения истории расширили арсенал саморефлексии историка. Вместе с тем, само мышление историка оказывается проблематичным, ставится либо в зависимость от объективного знания (Поппер), форм бессознательного (Фрейд, Юнг), текста (постмодернизм, постструктурализм) или стиля историописания (Х. Уайт). Однако, возможна ли тогда саморефлексия историка вообще, без чего целостность исторического сознания вряд ли достижима? Определенным выходом является герменевтика Гадамера, которая опирается на

осознание собственных предрассудков, предструктуры понимания. Но она некритично принимает традицию и мир повседневности такими, какие они есть, что тоже не способствует целостности.

Одной из фундаментальных основ объективности истории и целостности исторического сознания является человеческая деятельность. Именно в процессе деятельности человек творит и оценивает самого себя. Многообразие форм деятельности способствует формированию многогранной позиции. Речь идет о плюрализме метаописаний. Истина в подобном случае выходит за рамки как принудительной всеобщей объективной истины, которая выступает как логическая необходимость, исключающая свободу (постпозитивизм), так и за рамки субъективизма индивидуальных истин, разрушающих всякое смысловое единство (постмодернизм). Историческая истина обнаруживает себя в коммуникации, т.е. она выступает как отношение. Она не укладывается в рамки простого «слепок» исторического объекта в знании, а выявляет себя как характеристика способа взаимодействия с ним. Очевидно, что важнейшая задача постнеклассической исторической эпистемологии заключается в формировании «гибкой методологии»,двигающейся по направлению к различным характеристикам исторической истины, учитывающей различные типы мышления и формы деятельности субъекта (когнитивную, нравственную и эстетическую).

В этой связи интересна концепция Ю. Хабермаса. Хотя проблемы исторической эпистемологии не получили у него существенного исследования, тем не менее его социальная философия может служить в данном случае отправной точкой. В теории коммуникативного действия Хабермас попытался найти баланс между различными пониманиями социальной жизни. Ключевой категорией выступает социальное действие, объединяющее множество различных форм – понимание, труд, рациональное и иррациональное познание, интерпретация. Подход Хабермаса сводится к использованию различных методологий на разных стадиях исследования. Он не отбрасывает субъект-объектную парадигму постпозитивизма и марксизма, показывая, что рациональность и сегодня может быть эффективной. Однако, данная парадигма – лишь начало подлинного исследования общества, поскольку является реализацией стратегического действия (субъект навязывает объекту определенную схему анализа). Стратегическому действию Хабермас противопоставляет действие коммуникативное, фундаментом которого выступают языковое пространство, рациональная аргументация, герменевтическое понимание, признание равенства сторон на основе норм морали, метасредой обоснования которой является язык. Задача коммуникативного действия – путем вовлечения участников в диалог, способствовать выработке общей позиции, устраивающей все стороны. При этом именно мораль придает разуму объективный характер, и сама в свою очередь основывается на рациональных аргументах. Следуя гер-

меневтической традиции, Хабермас переносит акцент на субъекта, растворяя его в культуре, а также жизненном мире.

Достоинство теоретической конструкции Хабермаса в сравнении с гадамеровой состоит в том, что историк Гадамера, анализируя свои предрассудки, вряд ли может полностью преуспеть в данном процессе. Поле диалога всегда искажено невротическими разрывами, коллективным бессознательным и идеологемами. Одному историку преодолеть все это явно не под силу, а герменевтика, уводя проблему в сторону эмпатии и жизненного мира предпонимания, оказывается некритичной и не может служить реальным основанием для саморефлексии.

Выход для Хабермаса – в достижении коммуникативного опыта как результата критической рациональной рефлексии общества над историком на основе моральных ценностей и «правды» жизненного мира (децентрированное миропонимание). И наблюдаемое, и наблюдатель находятся в сфере постоянной общественной рефлексии (свободная общественность). Таким образом, именно подобная свободная общественность историков может служить одной из форм проявления «слепых пятен» исторического сознания и исторической памяти.

Б. Г. Могильницкий (Томский ГУ)

Методология истории в перспективе историографической революции

Будучи по своей природе методологической, историографическая революция актуализирует важность изучения и преподавания методологии истории, призванной отрефлексировать ее стремительный бег. Эта задача усложняется зигзагообразным развитием современной исторической мысли. Смена приливов и отливов, череда разнообразных «вызовов», быстро изменяющийся социально-политический и идеологический ландшафт обуславливают частые метаморфозы образа истории. Прибавим сюда полицентризм современной историографии, конкурирующие парадигмальные установки, необъятное расширение «территории историка» и способов ее возделывания. Переболев постмодернистским отрицанием научности истории, историческое сознание стремится прояснить возможности и пределы адекватной реконструкции прошлого.

В дуализме объективного и субъективного начал в познавательном процессе подчеркнем значение изучения его природы. Далекая от благочестивых намерений историков XIX века писать «как, собственно, это было», современная наука сохранила сам пафос научного познания прошлого, придав ему значение центральной эпистемологической проблемы. Речь идет о двух взаимосвязанных факторах реконструкции прошлой действительности – интерпретации и интенции к правдивости, неотделимой от гражданской позиции историка (П. Рикер). Тема его

социальной ответственности составляет эпицентр современных размышлений о природе и функциях исторического познания.

Отсюда вытекают некоторые перспективы модернизации методологии истории с фокусом на эпистемологической проблематике, охватывающей комплекс качеств нравственно-этического характера, в т.ч. такую категорию, как гражданская совесть историка. Ибо деформация этих качеств угрожает превратить историю, как предупреждал еще Й. Хейзинга, в «орудие лжи на уровне государственной политики» и, добавим, в средство манипуляции историей в интересах определенных социальных, национальных, религиозных и др. групп. Так проясняется назначение университетского преподавания методологии истории. С учетом «двойной ответственности историка» (А. Я. Гуревич), подчеркнем, что смысл его модернизации заключается в воспитании историка-гражданина, способного средствами своей науки активно влиять на жизнь, т.е. быть ответственным перед прошлым и настоящим.

Едва ли возможно даже бегло перечислить шаги историографической революции, требующие глубокого осмысления в категориях методологии истории. Одним из самых заметных ее выражений стало возникновение «другой истории», изучающей «мир воображаемого» (Ж. Ле Гофф), т.е. истории, реконструируемой «изнутри», раскрывающей побудительные мотивы человеческой деятельности, которая определяется не только осязаемыми реалиями, но и многоликими коллективными образами, возникающими и трансформирующимися на их основе. Достаточно сослаться на такие шедевры, как «Цивилизация средневекового Запада» или «Монтайю», чтобы убедиться в том, что этот подход, используемый в сочетании с традиционным историческим дискурсом, обогащает видение прошлого, делая его стереоскопическим.

Вместе с тем включение мира воображаемого в общий поток событийной истории ставит перед наукой новые эпистемологические проблемы, пути решения которых отнюдь не представляются очевидными. Такая неочевидность еще более возрастает при обращении к набирающей обороты «истории во второй степени». Ее непревзойденным пока образцом является созданный под руководством П. Нора много томный коллективный труд французских историков «Места памяти» (1984–1993). Посвященный истории Франции в Новое и Новейшее время, он являет собой новый тип историописания, концентрируясь на выявлении «убежищ памяти», в которых запечатлелась история страны. Его концепция, построенная на антитезе истории и памяти, подверглась обоснованной критике в отечественной историографии (Л. П. Репина), что, однако, не снимает необходимость изучения ее эпистемологических оснований, проливающих подчас неожиданный на познавательные возможности истории и на ее социальную роль в современном мире.

В определенном смысле современная историческая наука является своеобразным экспериментальным полигоном, на котором обрабаты-

ваются различные способы реконструкции прошлого с помощью методов и данных все расширяющегося круга смежных дисциплин. Перспективный путь таких исследований намечает полидисциплинарная технология методологического синтеза, фокусирующаяся на бессознательном и поддающаяся убедительной верификации на разнообразном конкретно-историческом материале (И. Ю. Николаева).

В условиях историографической революции можно ожидать наступление нового витка методологической модернизации нашей науки, связанной с бурным подъемом полидисциплинарных исследований, в очередной раз преобразующим ее облик. Непредсказуемость трансформации науки многократно возрастает вследствие непредсказуемости катастрофических потрясений современного миропорядка. Есть резон в утверждении, что в настоящее время человечество проходит через точку «исторической бифуркации» и находится в преддверии перемен, которые могут привести к совершенно иному способу функционирования не только историографии, но и всего человечества в глобальном масштабе (К. А. Агирре Рохас). В борьбе альтернатив грядущего мироустройства существенно возрастают социальная роль и социальная ответственность исторической науки, что делает особенно настоятельной модернизацию ее теоретико-методологических оснований.

А. В. Лубский (Южный федеральный университет)

Неоклассическая модель исторического исследования в культурно-эпистемологическом контексте начала XXI века

Неоклассическая модель исторического исследования сформировалась в начале XXI в. в контексте культуры неоглобализма, в интеллектуальном пространстве которой вопрос о культурном многообразии мира рассматривается как *conditio sine qua non* становления «человечества в целом». В рамках этой культуры возникла концепция новой мироцелостности, базирующаяся на методологии нового универсализма, основу которого составляют теории «культурного плюрализма» и те теории глобализации, которые постулируют позитивную связь между процессом глобализации и культурной разнородностью мира. Методология нового универсализма предполагает видение глобального целого как образования, в котором процессы глобализации и локализации развертываются одновременно и взаимнеобходимо, где глобальное формирует локальное, а локальное – глобальное. Эта методология характеризуется, с одной стороны, активизацией дихотомического стиля мышления, а с другой – стремлением к синтезу разных «оппозиций»: глобального и локального, универсального и уникального, гомогенного и гетерогенного, социоцентристского и антропоцентристского.

Возникновение неоклассической модели исторического исследования было эпистемологической реакцией на вызовы постмодернизма, связанные с покушением на профессию историка и социальный статус исторической науки. Представители неоклассической модели исторического исследования подвергли критике субъективистский, индивидуалистско-релятивистский стиль постмодернистского мышления, а также такие принципы постмодернистской модели исторического познания, как субъективизм, конструктивизм, приоритет языка над опытом, фрагментарность, презентизм и релятивизм, которые привели к потере ориентиров, ограничивающих фантазию историка. Критике были подвергнуты и методологические установки классической и неклассической исторической науки за то, что различные ее течения и школы жестко придерживались рассудочно-социологистско-номотетических или экзистенциально-номиналистско-идиографических принципов.

Неоклассики, исходя из реальности существования исторического прошлого и возможности объективного его познания, считают, что одним из атрибутов научного исследования является стремление к истине. Однако при этом вопрос о том, что считать истиной в исторической науке переводится в плоскость представлений об эвристических возможностях ее различных эпистемологических образов, содержащих определенные критерии научности и отвечающих при этом требованиям современных мыслительных коммуникаций.

Неоклассики, отказываясь от принципа «нейтральности» субъекта научного исследования, считают, что между прошлым и взглядом историка на него существует определенная связь. Историческое исследование они рассматривают как дискурсивное моделирование исторической реальности, в котором большое значение имеют когнитивные «фильтры», опосредствующие ее интерпретацию. Признавая объективность исторического исследования, неоклассики отводят субъективности эвристическую роль в первую очередь при выборе исходных методологических предпосылок научного исследования и риторических стратегий реконструкции исторической реальности, что, в конечном счете, обнаруживается в контекстном содержании научной истины.

Предметом неоклассической модели исторического исследования выступает история надиндивидуальная, универсальная, каузальная и история индивидуальная уникальная, казуальная, человек в истории и история в человеке. Поэтому задачей историка является и эмпирическая реконструкция исторических событий в их уникальной неповторимости и в присущих им обыденных понятиях, и теоретическая интерпретация исторических фактов в категориях науки. Опираясь на требование о том, что исторические теории должны выводиться из фактов, неоклассики считают самой продуктивной в научном исследовании «теорию среднего уровня» как точку пересечения теории и эмпирических обоб-

щений, теорию, претендующую на описание, понимание и объяснение исторической реальности в целом.

Неоклассики рассматривают методологический плюрализм в исторической науке как свидетельство ее нормального развития. Однако плюрализм у них ценен не сам по себе, а в связи с тем, что он является необходимым условием разработки наиболее адекватного варианта исторической теории. В основе неоклассической модели исторического исследования лежит критический, реалистско-синтетический стиль мышления. Базовыми принципами неоклассической модели исторического исследования являются эмпиризм, холизм, реализм, синкретизм, теоретизм, плюрализм, реконструктивизм.

Возникновение неоклассической модели исторического исследования сопровождается переходом от монистической интерпретации истории к плюралистической, базирующейся на принципах альтернативности и дополнительности. Неоклассики считают также, что историк должен изучать не только единичные действия и создаваемые ими факты исторической повседневности, существующие непосредственно *hic et nunc* и принадлежащие миру микроистории, но и *big structures*, и процессы *longue duree* макроисторического характера, целостный охват которых невозможен без определенных познавательных процедур, улавливающих движение истории во времени и пространстве. Это предполагает разработку многомерных методологических конструктов, которые базируются, с одной стороны, на разноуровневом и разномасштабном видении исторической реальности, а с другой – на синтезе «положительных» когнитивных установок классической и неклассической моделей исторического исследования с учетом всего того рационального, что содержится в постмодернизме.

В. Б. Шепелева (Омский ГУ)

Историческая наука, общество и теоретико-методологические проблемы исторического познания

История есть «политика, опрокинутая в прошлое», «продукт многолетней кропотливой политической работы, самая жесткая форма пропаганды», мощное средство формирования определенного настроения, устремлений общества. Так описывали реальную ситуацию с историей-наукой и образовательной дисциплиной отечественные и зарубежные гуманитарии (М. Н. Покровский, С. М. Дубровский, М. Ферро, К. Ясперс, М. Вербицкий и др.). Качественно иной вариант: политика должна быть прикладной историей (В. О. Ключевский). Известно, что «победители пишут историю» или – что победителями становятся, поскольку сначала прописывают историю, и потому от нашего выбора зависит наша судьба – Большая история (где объединены и Прошлое, и

Настоящее, и в значительной степени Будущее). Пожалуй, между первым и вторым подходом возможна связь. Тем более в эпоху осознанной необходимости, когда «история превращается из сферы знания в вопрос жизни и осознания бытия» (К. Ясперс, Н. Ф. Фёдоров, К. Маркс).

В этой ситуации кризис общества, видимо, есть знак или слабость – неэффективности социогуманитарного знания, в первую очередь, и науки в целом, т.е. неадекватности интеллектуальных начал, на которых выстраивается государственная политика; или свидетельство не востребованности этих начал управленческими структурами; или проявление того и другого вместе. Не является ли в эпоху субъект-объектных и все более востребуемых в жизни общества субъект-субъектных отношений проблема сближения научного знания и самосознания социума жестким требованием-вызовом времени? Случайно ли ещё Н. Ф. Фёдоров маркировал «эпоху совершеннолетия» человечества обращением науки в коллективный разум последнего (науки, нравственно оснащенной, соединившейся с «разумом народным»)?

Однако, как отмечается в современной историографии, серьёзная проблема ныне – уход от обобщающих, концептуальных исследований (хотя, «именно в сфере исторического синтеза... выражается природа истории как науки» – Б. Г. Могильницкий); уход от постановки общетеоретических, историософских вопросов, из-за чего укрепляется ситуация «слепого хоровода» (В. П. Булдаков) вокруг конкретно-исторических сюжетов Прошлого, ситуация «коллажей», осколков, изолированной атомизации при «неспособности... дать осмысленный целостный образ истории» (В. М. Мучник). У такого рода ориентиров – стремления вырваться из зависимости «власть – подчинение» в отечественной практике есть свои объективные предпосылки, особенно со времени утверждения «нормативной науки» в СССР. Но не следует упускать из вида, что квинтэссенцию таких ориентиров, постмодернизм, характеризует «исторический (и антропологический) нигилизм», «идея разрыва» относительно Прошлого, что в целом «бремя истории для постмодернизма неподъёмно», как свидетельствуют сами философы постмодерна (М. Фуко, Ю. Кристева, Х. Миллер, В. Лейч).

Сегодня при широком признании кризиса в исторической науке постмодернистские онтологические и гносеологические установки нередко принимаются как наиболее перспективные. Не вдаваясь в сюжеты дискуссии о пользе «лингвистического поворота» и конструктивности постмодернистских предпосылок и следствий, зафиксируем главное: пафос деконструкции – уничтожение Целого. В итоге – ни объективной реальности, ни личности; да здравствует «дивид», а затем и «смерть автора» в мире «симулякров», «клиники», «видимостей и легкомыслия», в итоге – истребление смыслов, Логоса (И. П. Ильин). Но человек-личность – протестант против нечеловеческой реальности, тогда как постмодерн при всей силе собственной «отрицательной прав-

ды» заканчивает свой путь подчинением и даже растворением в отрицаемом, в той самой Системе, неприятие которой – у самых истоков становления постмодернизма. Своей судьбой постмодернизм подтверждает суждения собственных провозвестников о том, что современные западные общества обладают эффективнейшей способностью обращать себе на пользу всякое протестное движение, ассимилировать всякую оппозицию. Речь идет о движениях «внутрисистемных», опирающихся, в частности, на те же (что у Системы) основы теоретизирования, философствования, не преодолевших ее интеллектуальных, познавательных парадигмальных опор-установок.

Мировоззренческо-познавательные парадоксы постмодернизма весьма созвучны парадоксам «новой физики» рубежа XIX–XX вв. И самое существенное при этом – продолжающаяся «метафизичность», механицизм; при всей процедурной изощренности неспособность прорваться на уровень научной рациональности, теоретизирования, вообще – познания *диалектического типа*. Вполне актуально звучат, поэтому, слова В. И. Ленина о «новой физике, свихнувшейся в идеализм», «свихнувшейся на *релятивизме*... (ибо) физики *не знали диалектики*». И словно буквально предупреждая постмодернизм, носители реалистической традиции русской религиозно-философской мысли от Н. Ф. Фёдорова до П. А. Флоренского, Н. А. Бердяева и др. настаивали: «Предпосылка деятельности... есть **реальность**... Иллюзионизмом, как деятельностью... по существу своему отрицается человеческое достоинство: ...человек замыкается ... в субъективное и тем... перерезывает свою связь с человечеством, а потому и с человечностью. Когда нет ощущения мировой реальности... распадается и единство вселенского сознания... и единство самосознающей личности. ...Но... реальность не дается уединенному в **здесь и теперь** точечному сознанию». Более того, и противоположное – «закон тождества», сквозная установка западной мысли – «уничтожает бытийственные связи и ввергает в самозамкнутость», тогда как «реальность дается лишь *жизни, жизненному* отношению к бытию; а *жизнь* есть непрестанное ниспровержение отвлеченного себе-тождества». То есть выход, и по Ленину, и по Флоренскому, и др. русским философам, в *диалектике*: в диалектическом методе познания, диалектическом типе научной рациональности, в диалектической деятельности. Этим требованиям отвечает *постнеклассика*. Между тем, в СССР с 1930-х гг. закрепляется «этап метафизического материализма в... философии», «метафизический монизм» сталинского проекта социалистического общества, тогда как Октябрь, НЭП сущностно диалектичны. Трагедия «советского проекта»: метафизики, механицисты, клявшиеся именем диалектики, подавили реальные диалектические тенденции в особо важных сферах жизни общества; в немалой степени – в науке, в социально-гуманитарном знании.

**Паноптикум науки в интерьере текучей современности:
постмодерн без постмодернизма?**

Воистину ноги богов обмотаны шерстью. 1960–70-е годы даже десятилетия спустя воспринимаются как историческое диво: «Процесс, в результате которого за тридцать пять лет (с окончания второй мировой войны. – В.Б.) около 300 миллионов человек в Европе к западу и к югу от Железного занавеса достигли относительного изобилия в рамках демократии и при господстве закона, являлся одним из самых поразительных в истории». [Джонсон П. Современность: Мир с двадцатых по девяностые годы. Ч. II. М., 1995. С. 211]. Не менее «поразительно», что лишь после двух попыток континентального суицида образованные классы осознали сложившиеся взаимозависимости и риски социального развития в качестве «глобальных проблем». Обретшее планетарное измерение сознание поставило под сомнение достоверность традиционной картины мира, которая утратила устойчивое разделение на идеологически санкционированный центр и оппозиционную периферию.

Истолкование децентрированного культурного пространства проходит по разряду *ad oculus*. Париж – культурная столица мира Модерна – таила в себе идею его отрицания: «османизация» великого города, проведённая в эпоху Наполеона III, практически стёрла с его карты понятия центра и окраин. Удивительно ли, что новую философию сотворили, прежде всего, парижане по духу – Р. Барт, Ж. Батай, М. Бланшо, Ж. Бодрийар, Ж. Делёз, Ж. Деррида, Ю. Кристева, М. Мерло-Понти, М. Фуко? Острые их критики было направлено на классические представления о структурности, обоснованной наличием выделенных как в топологическом, так и в аксиологическом плане точек и осей пространственной и семантической среды. Выбор в пользу ацентризма обернулся отказом от самой идеи референции. Утверждая восприятие семиотических сред как самодостаточной реальности, постмодернистская философия отвергала классическое требование определённости значения, жёсткой соотнесённости его с конкретным денотатом в пользу программной открытости значения с множеством культурных интерпретаций. Тем самым под вопрос были поставлены классическая теория познания и статус его бастионов – филологии и истории.

Набор инвектив в адрес постнеклассической теории *in nuce* содержится в вышедшей в 1980-е гг. книге К. Ажежа [Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки. М., 2003. С. 279], голосом которого говорила вся традиционная наука, жаждающая семантической определённости. Итог «боев за историю»: натиск номадистов на редуты классицизма приостановлен на условиях методологических компромиссов. Дискурс-аналитики ратуют за торжество «здра-

вого смысла», который стал брендом реставрации просветительского толка, а историки руководствуются некоторыми «постмодернистскими приемами на практике, даже если они пока и не высказали в полном виде свои теоретические послышки» [Спигел Г. К теории среднего плана: историописание в век постмодернизма // Одиссей – 1995. М., 1995. С. 218–219]. Смыслы постмодернистского культуркампа стали проявляться во времена позднего постмодернизма. Эвристическая функция постмодернизма – катализировать процесс легитимации идей о релятивности истины и результатов лингвистического поворота. Усилий веберовской социологии вкупе с критической философией К. Поппера не хватило для того, чтобы расшатать соответствующее аристотелевой картине мира «представление о непосредственном доступе к истине – с помощью очевидной пронизательности разума или точного наблюдения» [Альберт Х. Трактат о критическом разуме. М., 2003. С. 50]. Для того, видимо, и был явлен постструктурализм, чтобы лишить познавательную модель звания гаранта истины и достоверности.

Для многих обществоведов понятия как были «формой человеческого мышления, в которой выражаются общие, существенные признаки вещей, явлений объективной действительности» [Краткий философский словарь. М., 1952. С. 397], так, в сущности, и остались. По-иному видеть мир положительная наука и культура, опирающиеся на традиции Просвещения и Модерна, не могут и не хотят, продолжая рассматривать век XX-й, а теперь и XXI-й в пределах всё того же Нового времени. Дело тут не в простом расчёте, а в мировом законе современной социальности, а может быть, – человеческой коммунальности вообще. Если понимать постмодернизм «не только как способ раскрепощенного мышления, но также как историческое описание, знак (однако лаконичный и недостаточный) эпохи» [Каплан Дж. Постмодернизм, постструктурализм, деконструкция: заметки для историков // Imagines mundi: Альманах исследований всеобщей истории XVI–XX вв. № 3. Интеллектуальная история. Вып. 1. Екатеринбург, 2004. С. 122], то о современной научной ситуации с известной долей условности можно сказать: постмодерн ещё как есть, а постмодернизма нет. Но что и когда останавливало первопроходческую активность интеллекта? А потому неизбежны и в дальнейшем столкновения носителей идей просветительского неоклассицизма с кочевниками из теоретической стратосферы, не желающими мириться с шизофренизацией человека и его истории под прикрытием торжества здравого смысла. Арсеналы для новой атаки формируются: концепции «второй современности» и «надсовременности», представления о нынешнем мире как о «текучей современности», эпохе «после либерализма» и т.д. Однако для появления синтезирующего регламента/бренда потребен сдвиг, подобный революции 1968 года или хотя бы «концу истории» рубежа XX–XXI вв. Воздержимся от предположений, руно заглушает звуки мерных шагов.

**Методология интеллектуальной истории
как способ преодоления кризиса исторической эпистемологии**

Существенный парадигмальный поворот в исторической науке последней трети XX века, связанный с появлением «постмодернистского» («лингвистического») вызова, привел историческую эпистемологию в состояние крайнего затруднения. Наступил (по крайней мере, как принято считать) затяжной эпистемологический кризис.

Идеи постмодернизма не просто подвергали сомнению принципы получения исторического знания. Они, по сути, меняли объект познания исторической науки на то, что конструируется языковой и дискурсивной практикой, признавали тексты единственной исторической реальностью. Была поставлена под сомнение сама вера в неизменность и доступность прошлого. Смириться с этим для историков, воспитанных в духе традиционной школы, было абсолютно невозможно. Согласие с утверждением, что прошлого как бы не существует, а есть представленное в дискурсе информационное поле, которое, собственно, и есть история, помимо прочего, означало бы отказ от конституирования истории как науки, что равносильно научному самоубийству.

Понятно, что проклятий в адрес постмодернизма прозвучало достаточно. Несмотря на это, как отмечает большинство исследователей, убедительного ответа ему со стороны традиционной исторической науки так и не было дано. Естественно, в такой ситуации возникают вопросы: существует ли возможность преодоления эпистемологического кризиса? Есть ли точки соприкосновения исторических парадигм?

Представляется, что начало преодолению кризиса положила так называемая «средняя позиция» (или позиция «третьего направления»). Она констатирует трудности познания истории, но при этом делает вывод, что данные трудности еще не означают, что реальности не существует. До определенной степени признается позитивное влияние «лингвистического поворота». Постепенно круг историков, разделяющих «среднюю позицию», расширяется.

Теперь, для попытки дальнейшего решения проблемы поиска конструктивного выхода из эпистемологического кризиса, попытаемся сформулировать несколько собственных соображений.

Во-первых, следует пересмотреть отношение к термину «кризис» и ему подобным. Целесообразно исходить из того, что кризис в науке, вызванный столкновением различных научных парадигм, в конечном счете, должен вывести данную науку на более высокий уровень. В этой связи постмодернизм следует рассматривать не как крушение основ, а как некий стимулирующий фактор для решения назревших проблем

исторического знания. Необходимо стараться перевести конфликт исследовательских подходов в максимально конструктивную сферу.

Во-вторых, очень важно, что подмеченные «постмодернистским вызовом» проблемы исторического познания не были сконструированы неким «внешним врагом» исторической науки, а существовали реально. Например, выделение проблем, связанных с историческим нарративом именно в духе постмодернизма, применялось автором данных тезисов в курсе теории и методологии истории задолго до того, как историческую периодику захлестнула тема постмодернизма. Поэтому очень точным представляется замечание о том, что «в своей основе новые тенденции вовсе не были навязаны извне. Будучи одним из проявлений всеобщего культурного сдвига, так называемый лингвистический поворот воплотил в себе все то, что длительное время оставалось невостребованным и казалось утраченным, но постепенно вызревало в самой историографии» [Репина Л. П. Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // Одиссей – 1996. М., 1996].

В-третьих, формирование в новейшей историографии новой культурной и новой интеллектуальной истории, в которых проявляется стимулирующее воздействие постмодернистских тенденций, дает возможность преодоления эпистемологического кризиса в исторической науке. Ведь интеллектуальная история сочетает принципы не только «постмодернистского вызова», но и традиционной историографии. Так, поле деятельности новой интеллектуальной истории – история общественной, политической, философской, научной мысли. Используя изучение интеллектуального творчества, литературные формы изложения материала, письма и речи, она тесно смыкается со многими постулатами постмодернистов, но не рассматривает только «тексты вкуче с текстами», а помещает их в социокультурный контекст.

В-четвертых, из вышесказанного следует, что инструментарий интеллектуальной истории, в т.ч. ее методология, являются теми факторами, которые могут укрепить «среднюю позицию», а, следовательно, способствовать преодолению эпистемологического кризиса.

Автором данных тезисов написан ряд работ, посвященных методологии интеллектуальной истории в целом, проблеме генезиса и оценки доктрин отечественных мыслителей, анализу методологии их творчества. В этих работах сформулированы различные выводы – о необходимости преодоления стереотипов социально-экономического детерминизма; о круге источников при реконструкции того или иного направления интеллектуальной истории и о самом методе подобной реконструкции; об отказе от увлечения логическими конструкциями и, в то же время, о негативных сторонах отсутствия теоретических обобщений и доминантной идеи; о полидисциплинарных методах и о мн. др.

Эти выводы, с одной стороны, близки к тезисам постмодернизма (например, вывод о том, что отсутствие цельности, стройности, логиче-

ских систем в противоречивых, как жизнь, текстах В. В. Розанова составляет одно из редких их достоинств). С другой стороны, рассматривается, как тот или иной автор наделяет смыслом свои дискурсы под влиянием действительности; воспроизводится правило традиционной историографии: выявлять связь содержания источника и результатов его анализа с социальным, политическим и культурным контекстом.

Итак, разработка методологии интеллектуальной истории является одним из путей реализации «средней позиции» и представляет один из способов преодоления кризиса исторической эпистемологии.

М. А. Кукарцева (Московский гос. университет путей сообщения)

Понимание текста как проблема исторической эпистемологии

Под исторической эпистемологией я понимаю определенный ин-структивный репертуар общих и специальных когнитивных методов и правил исторических исследований, применение которых снижает риски некорректных суждений. Историческая эпистемология коррелирует с *историческим мышлением* (допущениями историков и импликациями их исследований как уникальной комбинацией акцентов, варьируемых в зависимости от исторического периода, религии, социальной группы, индивидуальности историка) и *способами адресации историков* к прошлому (память, коммеморация, традиция, ностальгия и пр.).

Сущностным компонентом этих разделов исторической практики является *понимание*. Сегодня в исторической науке концепция понимания отсутствует. На мой взгляд, в истории его необходимо рассматривать одновременно в иллокутарном смысле, как передачу информации от индуктора (прошлого, текста, свидетельства) к реципиенту (настоящему, историку, читателю), и в герменевтическом – как понимание значения конкретного прошлого события и реконструкцию ментального и психологического состояния его участников. При таком подходе история сохраняет статус общезначимой и объективной науки о реальном, а не о вымышленном мире, отделяет себя от фикции через систему принятых ограничений.

Возможно ли историческое понимание в принципе? Во-первых, такая возможность зависит от трактовки самого исторического процесса (линейного, прогрессивного, циклического, замкнутого, вариативного, плюралистического). Если история в каждой эпохе содержит в снятом виде все предыдущие, то историк в своей эпохе может узнать и понять другую. Если же каждая эпоха есть нечто отдельное с уникальным набором форм и идей, то ее понять нельзя.

Во-вторых, чужую историческую эпоху *трудно объяснить*, какие бы свидетельства ни были доступны историку и как бы она ни походила на его собственную. Прошлое можно стараться понять, т.е. узнать

или не узнать *смысл* имевших место событий. По этому поводу имела место дискуссия о дихотомии объяснения/понимания в историческом знании. Точка в ней не поставлена до сих пор, но выяснено, что хотя понимание и формируется в процессе объяснения, и в истории могут быть использованы разные виды научного объяснения (каузальное, генетическое, телеологическое, структурное и пр.), прошлое нельзя рассмотреть с точки зрения его собственных законов. Историк не знает этих законов, (речь идет не столько о писанных законах, но и об экзистенциальных, моральных). Историк не владеет «внутренним» языком ушедшей эпохи, некоторыми фактами и частностями, он знает только *содержание* того или иного результата человеческого действия. Расшифровать это содержание, значить понять смысл исторического события. Но как его расшифровать? Среди таких способов – перевод на «свой» язык значений истории, предложенное Дильтеем, микроистория и уликовая парадигма Гинзбурга, разные варианты исторических интерпретаций; есть и анализ исторического текста как основного носителя информации, усвоение которой ведет к пониманию.

В историческом тексте, как и в любом другом, всегда содержится ключевая мысль, в которой репрезентирована какая-либо «вещь» с приписанными ей свойствами. Если исторический текст есть документальное, архивное свидетельство, например, расписание движения транспорта, то понимание устанавливается в направлении от *текста к смыслу*. Здесь текст есть просто утверждение, извлеченное из событий и голосов исторических агентов. Язык такого текста есть своего рода *телескоп*, сквозь который историк прямо смотрит на историю, здесь действуют особые правила работы с источниками. Понимание (в иллюкатарном смысле) может осуществляться как возникновение принципиально нового знания, которым до этого момента не обладала историческая наука; как переход от известного знания к новому. Исчезает или только уточняется уже сложившаяся концепция, зависит от многих обстоятельств: информативности текста; тезауруса историка; от того, насколько избирательно усвоена и преобразована информация; от соответствующей методики объяснения.

Если исторический текст – это летопись, перевод с одного языка на другой, литературный источник или нарратив историка, то понимание устанавливается в направлении от *смысла к тексту*. Текст предстает как умозрительная, аналитическая работа историка, зависящая от его способности строить нарратив из сотен уже рассказанных *historia*, выявляя основное значение в потоке и беспорядке событий. Здесь важно понимание и в герменевтическом аспекте. Автор сам конструирует текст, язык текста напоминает *калейдоскоп*, на который смотрит читатель. Текст разбивает историю на фрагменты, всякий раз по-разному репрезентируя события. Но сообщаемое текстом новое знание и авторский смысл текста детерминируются не столько архивной информаци-

ей, сколько личным и коллективным опытом, пристрастиями, предубеждениями историка, заданными целями. В соответствии с этим знание конфигурируется различными способами. Насколько адекватна точка зрения историка? Есть ли пределы исторической интерпретации? Является ли история своего рода «контрактом понимания» между историком и читателем? Насколько читатель может быть уверен, что историк верно понимает и может объяснить написанное? И насколько в этом может быть уверен сам историк? Какова здесь роль языка историка? Эти вопросы обнаруживают огромный спектр нерешенных проблем, где одна из главных – что такое и как возможно историческое понимание.

Ю. П. Зарецкий (ГУ – Высшая школа экономики)

Истории, которые у нас не пишутся

Современная историография демонстрирует огромное многообразие подходов к изучению прошлого. Не раз предпринимались попытки систематизации этих подходов и одновременно осмысления тех изменений, которые произошли в историческом знании со времени его превращения в науку в первой половине XIX в. до настоящего времени. Емкую формулу для описания этих перемен предложил в одной из своих последних лекций П. Рикер: «в XX веке историю событий сменила история интерпретаций» (Центрально-Европейский ун-т, 09.03.2003).

Очевидно, что формула Рикера объединяет разные историографические направления – от «истории ментальностей» до «нового историзма». Но в последнее время в «истории интерпретаций» особое влияние приобрело «конструкционистское» направление. В данном случае имеется в виду стремительный рост числа исследований, в которых рассматриваются не события, процессы и явления прошлого как таковые, а их интерпретации и изменения этих интерпретаций в истории.

Теоретические основания, способы организации материала и «прочтения» научным сообществом нескольких исследований этого «конструкционистского» направления являются предметом специального рассмотрения в настоящем докладе. В числе анализируемых работ: Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003 [Stanford, 1994]; Paige N. D. Being Interior: Autobiography and the Contradictions of Modernity in Seventeenth-Century France. Philadelphia, 2000; Geary P. The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe. Princeton, 2002; Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти. М., 2007 [Köln, 2004].

В заключительной части доклада содержатся размышления о том, почему в современной российской историографии это «конструкционистское» направление не получило развития.

Источники исторических сведений как текст

В научном описании исторические источники рассматриваются в качестве носителей значимых сведений о событиях, персонах, странах, процессах, характеристиках разных объектов и т.д. На них ссылаются как на примеры для подтверждения доказываемых положений и/или при обосновании той или иной интерпретации. Они мыслятся как стимул для визуализации исторических объектов при создании реконструкций, как опоры для рассуждений при трансляции исторического знания в учебниках и монографиях и т.п.

Независимо от того, для чего, в каком виде и какого рода (перво-) источники привлекаются, историки часто сознательно или неосознанно абстрагируются от ряда обстоятельств, артикуляция которых может привести к серьёзным коррективам результатов исследования. Эти обстоятельства условно можно объединить в несколько групп. Первая группа признаков связана с закономерностями организации текста:

- источники представляют собой **тексты**, бытующие либо в устной, либо в письменной форме. И хотя обе формы бытования текстов генетически родственны, они всё же не являются тождественными и имеют очевидные специфические характеристики;

- каждый текст организован на разных основаниях по законам, которым носители языка не могут не следовать, если они хотят быть понятыми своими собеседниками и если намерены достичь своей цели;

- текст является продуктом дискурсивной деятельности коммуникантов с определёнными характеристиками в конкретных условиях для решения некоторых общих коммуникативных и когнитивных задач;

- каждый текст создаётся для определённой цели – аргументировать, убедить, разжалобить, объяснить, оправдать, поддержать и т.д.;

- текст служит средством фиксации культурно специфических знаний, кодирование и декодирование которых подчиняется правилам, принятым в конкретном языковом и культурном сообществе. Нарушение этих правил значимо для носителей соответствующей лингвокультуры, хотя они не всегда это осознают;

- текст – это результат использования коммуникантами языка как культурного кода. Однако в процессе вербализации активизируются не все релевантные конкретной коммуникативной ситуации сведения. Значительное количество сведений, без которых невозможно осмысление текста, так и остаётся имплицитным; и, следовательно, доступным только тем, кто владеет соответствующими культурными кодами;

- каждый источник представляет собой текст конкретного типа, синтаксическая, семантическая и прагматическая организация которого

существенным образом отличается от организации текста другого типа. Поэтому одно и то же содержание, выраженное в разных типах текстов, адресат воспримет по-разному.

Вторая группа параметров имеет отношение к когнитивным закономерностям. Любой текст представляет собой **интерпретацию** со стороны конкретного субъекта – интерпретацию текста как комплекса сведений, каждой из содержательных и/или формально выделяемых частей текста, внутритекстовой архитектоники и т.п. Исследователь имеет дело, по сути, с двойной интерпретацией сведений о мире: как со стороны автора текста, так и со стороны реципиента, которым может быть одновременно и сам исследователь. Это обстоятельство побуждает принимать во внимание и фундаментальные свойства восприятия: аффективность, субъективность, селективность, телеологичность, контекстную обусловленность. Человек обрабатывает не весь поток информации, а только некоторую его часть – ту, что поступает через когнитивную рамку восприятия, которая у каждого специфична.

Результатом описанного положения дел становится разное **профилирование** информации о мире, т.е. различия в результатах концептуализации и категоризации сведений о мире. При профилировании особую роль играют **стереотипы сознания** как образцы для когнитивной обработки действительности, значимые на всех этапах интерпретации сведений о мире. Процесс и итог обработки сведений о мире всегда **культурно специфичен**. Культурная идентичность коллективного и единичного субъекта сказывается на всех способах организации деятельности, в т.ч. и на процессах кодирования и декодирования сведений о мире, на процессах интерпретации текстов. Поэтому целесообразно учитывать, что один и тот же комплекс сведений в каждой культуре кодируется разными способами, и что в каждой лингвокультуре существуют свои специфические способы активизации информации.

Наконец, каждый носитель языка, в том числе и историк-исследователь, – это **наивный лингвист** и в силу этого он имеет свои предпочтения при выборе средств вербализации сведений о мире и свои излюбленные стратегии организации интеракции, а также стратегии декодирования комплекса информации о мире.

Высказанные соображения могут быть полезными при разработке новых приёмов и методов анализа источников исторического знания. Необходимость последовательного и **сознательного** учёта упомянутых обстоятельств важна при анализе, например, новых учебников истории для школьников или для студенчества, для разоблачения фальсификаций в средствах массовой информации, а также при работе с устными сообщениями свидетелей тех или иных исторических событий.

Исторический источник как закодированный текст

В неклассической парадигме исторический источник рассматривается как текст, представляющий собой, прежде всего, продукт человеческой психики. Согласно Р. Барту, смысл любого текста может быть закодирован пятью способами: 1) код повествовательных действий характеризует последовательность; 2) семантический код объединяет все существенные для понимания текста понятия, которые в нем встречаются; 3) код культуры включает в себя все необходимые сведения о культуре данной эпохи, необходимые для того, чтобы мысль повествователя могла быть ясно понята читающим; 4) герменевтический код содержит в себе формулировку вопроса, который задается в повествовании, а также формулировки возможных ответов; 5) символический код создает фон глубинных психологических мотивов, в скрытом виде заключенных в повествовании. Как правило, способы кодирования текста используются одновременно, причем часть из них – бессознательно. Следовательно, исторический источник, как и любой текст, имеет множество смысловых уровней, каждый из которых актуализируется при определенных обстоятельствах. Поэтому анализ исторического источника как текста, возникшего в той или иной ситуации и созданного конкретными людьми со своими не всегда осознаваемыми намерениями, требует особых методов, которые выходят за рамки классических герменевтических процедур.

Одним из инновационных для источниковедения методов является психоанализ. Несмотря на то, что в России психоанализ так и не получил статуса науки, трудно найти такую сферу деятельности, где бы он не применялся. Мы разделяем позицию А. М. Руткевича, считающего герменевтическую версию психоанализа наиболее перспективным способом его истолкования [Руткевич А. М. Глубинная герменевтика. М., 1992]. Однако он считает существенным недостатком глубинной герменевтики её ориентацию на трансцендентальную антропологию. Как нам представляется, это обстоятельство все же не препятствует применению психоанализа в источниковедении.

Чтобы проверить толкование на предмет его соответствия действительности нужно иметь возможность вести диалог с тем, кто подвергнут анализу, ибо один из главных методов получения данных – психоаналитическое интервью с использованием свободных ассоциаций и регрессивного анализа. В исторической науке это возможно лишь отчасти: например, в рамках такого направления, как устная история. Однако если представить, что, имея перед собой текст исторического источника, исследователь вступает с ним в своеобразный диалог, то в этом случае задача исследователя заключается в выяснении того, насколько действительность, отраженная в историческом источнике, искажена групповыми и личными проекциями.

Если рассматривать исторический источник как текст, созданный в определенной системе координат, то такой текст обязательно сохраняет следы бессознательных проекций. Применение психоаналитического инструментария при работе с текстом становится возможным при соблюдении определенных условий. В современном психоанализе разработана методика поэтапного понимания, внутреннего диалога. Например, П. Куттер [Куттер П. Современный психоанализ. СПб., 1997. С. 215] выделяет шесть ступеней понимания: 1) восприятие слов; 2) переработка восприятия; 3) перенос и контрперенос; 4) составление «внутреннего образа» анализируемого; 5) сличение «внутреннего образа» с ранее известными аналитику примерами проявления стереотипных отношений; 6) переход к использованию собственно теории психоанализа; предварительный практический образ сопоставляется с существующим на этот счет образом теоретическим.

Этапы психоаналитического понимания иллюстрируют синтез герменевтики и логики, что характерно для психоанализа в целом.

В прикладном психоанализе в качестве основного критерия проверки правильного толкования используется следующий принцип: если данная интерпретация вызывает позитивные изменения в состоянии анализируемого, такая интерпретация верна. Имплицируя данный принцип в источниковедение, критерий когерентности, внутренней логической связи толкования может быть надежным ориентиром при построении психоаналитической модели события, изложенного в историческом источнике.

С целью презентации возможности психоаналитической интерпретации исторического источника нами выбраны следственные дела репрессированных 1920-1950-е гг. [Кладова Н. В. Проблемы исторического познания: источниковедческий аспект. Барнаул, 2006]. В частности, мы предлагаем характеризовать следственные дела репрессированных как сущностно-содержательную модель советского общества, хранящую в себе информацию о способах выработки антиэнтропийных механизмов в сфере массового политического поведения, что позволяло социуму сохранять состояние неустойчивого равновесия в условиях модернизации властного типа. Психоаналитическая интерпретация следственных дел репрессированных по политическим мотивам даёт возможность внести существенную лепту в решение следующих задач:

- показать отражение в следственных делах тенденций самоорганизации советского общества в сфере политического поведения;
- продемонстрировать спонтанность процесса самоорганизации через характеристику архетипических образов, обнаруженных в материалах следственных дел;
- выстроить психоаналитический дискурс следственных дел, что позволяет использовать этот источник в качестве основы для исторического моделирования.

Теоретическая модель исторического нарратива

Понятие нарратива в современной философии истории является широким, что объясняется его неоднозначным пониманием представителями разных школ и направлений. Цель данного доклада – рассмотрение теоретической модели исторического нарратива, под которым понимается повествовательный исторический текст.

В философии истории второй половины XX в. был предложен ряд теоретических моделей исторического нарратива. Согласно А. Данто, нарратив (повествование) – это способ организации прошлого во временные целостности, структура, налагаемая на события и объединяющая их в соответствии с некоторым критерием значимости. Основным структурным элементом исторического нарратива А. Данто считает нарративное предложение. По Х. Уайту, исторический нарратив составляет комбинация сюжетной линии (роман, комедия, трагедия, сатира), типа аргументации (формализм, механицизм, органицизм, контекстуализм) и идеологического подтекста в широком смысле (анархизм, радикализм, консерватизм, либерализм); историк изначально выбирает определенную интерпретативную стратегию или троп (метафора, метонимия, синекдоха, ирония), который четко задает названные параметры исторического повествования. «Категориальную схему» анализа исторических работ, которую развивает А. Мегилл, можно назвать функциональной. Он выделяет четыре основные задания историографии (описание, объяснение, аргументация, интерпретация), и в зависимости от того, какое из них преобладает в конкретной работе, она может соответствовать форме нарратива (описание) или отклоняться от нее, хотя все из вышеперечисленных функций обязательно присутствуют в каждом историческом исследовании. Таким образом, разграничивая четыре возможные модели исторической работы, А. Мегилл существенно сужает понятие нарратива, сводит его лишь к одной из них.

Опираясь на анализ имеющейся научной литературы, я предлагаю обобщенную теоретическую модель исторического повествования, основные параметры которой образуют: 1) смысловая структура, 2) литературная форма и 3) точка зрения или оценка.

Смысловая структура исторического нарратива выполняет двоякую организующую роль. Во-первых, она задает формальное единство исторического материала, соотносясь с композиционным построением любого повествования (начало – середина – конец). Так, хроника может не иметь завязки, поскольку начинается тогда, когда ее автор приступает к работе над нею, а ее конец всегда остается открытым. В отличие от хроники историческое повествование имеет четко различимую форму.

Во-вторых, смысловая структура нарратива отвечает определенному способу организации прошлого или сюжетной линии, которая разворачивается в пределах композиционной формы и обеспечивает уникальную смысловую связность материала в конкретной работе. Смысловую структуру исторического повествования разные исследователи называют по-разному – «сюжет» (Ю. М. Лотман), «тип построения сюжета» (Х. Уайт), «интрига» (П. Рикер), «интрига в широком смысле» (П. Вейн), «сеть» (Р. Дж. Коллингвуд), «организующая схема» (А. Данто), но функционально определяют практически одинаково.

Литературная форма нарратива, которая соотносится со смысловой структурой, также выполняет две функции: средства текстуального оформления (объективации) и способа подачи исторического материала. История «литературна» по факту своего существования, поэтому не может не придерживаться общих правил написания. Превращение события в текст означает, по Ю. М. Лотману, пересказ его в системе того или иного языка, а значит – подчинение определенной заранее данной структурной организации. Это структурное единство, физически принадлежащее лишь плану выражения, неизбежно переносится и на план содержания. Специфика положения историка состоит в том, что он не только сам является представителем конкретной языковой группы, но и, в основном, имеет дело с нарративами. В то же время, литературная форма исторического повествования – главное средство представления результатов исторического исследования. Историков часто обвиняют в безразличии к мастерству написания, предлагают задействовать выразительные средства современной художественной литературы. По мнению П. Берка, к интересным результатам привело бы внедрение в историописание диалога, разногласия, приема «неправдивого рассказчика от первого лица». Сегодня можно говорить не только о литературной форме исторического нарратива, но и о знаковой, распространяя понятие нарратива на средства наглядного представления информации.

Точка зрения или оценка, присутствующая в историческом нарративе, прежде всего, ассоциируется с вопросом его объективности или субъективности. Историческое повествование объективно конвенционально, в силу соответствия общим правилам и требованиям исследовательской работы (истина как цель). Его субъективность проявляется в «предрассудочности» исторического сознания (Г. Г. Гадамер). Историк не может быть полностью свободным от менталитета своего времени, предрассудков общества – «паутины» общих и конкретных убеждений, которую человек принимает целиком (И. Берлин).

Важно также учитывать специфику предмета исторического исследования. Историк прежде всего имеет дело с человеческой деятельностью, что предполагает включение оценочного (аксиологического) компонента как в его работу, так и в сам предмет изучения. Даже при-

существование четко определенной моральной позиции автора в работе, считает А. Данто, не уменьшает ее научного статуса, потому что не противоречит стремлению историка сообщить о том, что же действительно произошло. Историческое повествование само по себе является точкой зрения, оценкой прошлого с позиций настоящего.

Рассмотренные параметры характерны, на наш взгляд, для любого исторического нарратива, отличаясь лишь специфическими особенностями, выражающими время и место его создания.

Е. А. Кротков (Белгородский ГУ)

Специфика социально-исторического дискурса

Ведущую позицию в системе параметров, специфицирующих социально-исторический дискурс, занимает *временной признак*: его предметная область – прошлое. Правомерен вопрос: события вчерашнего дня, к примеру, тоже следует отнести к сфере исторического познания? Широко известен утвердительный ответ: любая реальность есть история, а любое знание и сознание являются историческими феноменами (Б. Кроче и Р. Дж. Коллингвуд). Чтобы уйти от парадокса универсализации историзма (все дискурсы – исторические, значит, вообще нет исторического дискурса) целесообразно принять следующие соглашения. *Социальное настоящее* – это все то в социальном, что а) происходит «здесь и сейчас»; б) было в недавнем прошлом и потому сравнительно полно запечатлено в памяти живущих и отображено в текстах; в) наступит в ближайшем будущем и потому сравнительно точно прогнозируемо в настоящем. *Социальное прошлое*: а) имело место в отдаленном прошлом; б) его сопоставление с настоящим способно произвести лишь идеологический эффект; в) оно только фрагментарно воспроизводимо по текстам. *Социальное будущее*: а) придет на смену социальному настоящему и лишь частично детерминируется им; б) в настоящем может существовать только виртуально; в) способно повлиять на мотивы и цели деятельности ныне живущих. Интервалы значимых предикатов «ближайшее» и «отдаленное» устанавливаются, как правило, «на глазок» и «по умолчанию». Принятие той или иной конвенции в отношении границ социального прошлого релевантно решению проблемы научной рациональности анализируемого вида исторического дискурса.

Вторым по значимости конститутивным параметром социально-исторического дискурса является *идеологическая составляющая*. В фокус внимания социального историка попадают, как правило, только те события и процессы исторической реальности, ретроспекция которых способна дать надежду людям и поколениям «понять» себя и «укорениться» «на долгие времена» во мнении собственной значимости. Прошлое онтологически не детерминировано настоящим, не может изме-

ниться под его влиянием. Тем не менее, социальная история пишется не только по формуле «как это в действительности было», но и под диктатом *«потребного прошлого»*. Говорят же, что каждое поколение заново переписывает историю, проецируя на нее свои ожидания. Социально-историческое прошлое воссоздается из хронологической последовательности более или менее правдоподобных исторических свидетельств и на фундаменте таких идеологем как *«смысл истории»*, *«национальная идея»*, *«честь нации»* и ее *«враги»* и *«союзники»*, *«историческая справедливость»* и т.п. Поскольку в социуме, разделенном на богатых и бедных, «своих» и «чужих», не существует единой идеологии, социально-исторический дискурс не может не иметь отчетливо выраженного *плюралистического* характера. Усиливается этот плюрализм различиями в социологических, психологических, экономических теориях, посредством которых разные историки интерпретируют одни и те же исторические факты.

Идеологизм социально-исторического дискурса не является следствием недобросовестности и, тем более, умышленной предвзятости историков. Каждый человек нуждается в обретении «непреходящего» смысла своей собственной жизни, что возможно лишь в контексте смысла жизнедеятельности тех социальных общностей, с которыми он себя идентифицирует. Но *смысложизненные векторы* социального и личностного бытия невозможно «вывести» из окружающего мира природы или биологической конституции человека путем проведения научных экспериментов и построения научных теорий. Они формируются в головах «эзотериков» (мудрецов, проповедников, поэтов и вождей) из «архетипической» потребности в «племенной» (кастовой, национальной, классовой) принадлежности. Затем эти смыслы и ценности инкорпорируются в общественное сознание и проецируются не только на настоящее и будущее, но и на прошлые поколения, т.е. формируется *культурная идентичность в темпоральном измерении*. В итоге создается *эффект социально-исторической иммортализации* индивида: преодолевается ощущение случайности и эфемерности земного бытия, укрепляется чувство причастности если не к вечности, то к чему-то значительному, остающемуся в долговременной социальной памяти.

Отсутствие в социуме структурных и эволюционных номологических зависимостей, невозможность осуществлять актуальные наблюдения и производить реальные эксперименты над социальным прошлым, а также неустранимость идеологических проекций, диверсификация интерпретативных процедур обуславливают *атрибутивный статус пробабиллизма* социально-исторического дискурса и *генетическую близость* его с *художественным вымыслом* (мифотворчеством). Поэтому следует рассматривать в качестве опасной иллюзии претензии историков на преимущественное право обладания исторической «правдой»: эти самонадеянные «грёзы» порождают антагонизм социальных историй, который, как известно, чреват реальными политическими конфликтами и насилием. Ясно и другое: многое из социального прошлого

могло быть полнее и точнее реконструировано посредством научных методов, если бы историки иногда не превращали свои штудии в ремесло по заготовке «исторических аргументов» для политического дискурса. Реализация этой возможности будет способствовать усилению роли *толерантных принципов* в социально-историческом дискурсе, что, несомненно, повысит шансы коллективного научно-исторического разума на сближение с исторической реальностью.

А. А. Олейников (РГГУ)

Рождение истории из духа реакции: М. Фуко о происхождении западного «историко-политического» дискурса

В курсе лекций «Нужно защищать общество», прочитанном в Коллеж де Франс в 1975-76 гг., М. Фуко предлагает рассматривать войну в качестве матрицы властных отношений и постоянного мотива внутривластной жизни. Переверачивая известный тезис Карла фон Клаузевица, он утверждает, что «политика есть продолжение войны другими средствами». Ставя вопрос о генеалогии политических концепций (и, в первую очередь, марксистской теории классовой борьбы), в которых подчеркивается значение социального антагонизма в качестве движущей силы современной истории, Фуко видит их происхождение, главным образом, в дискурсе французской аристократии периода конца XVII – начала XIX в., выступавшей одновременно против усиления административного аппарата королевской власти и против возрастающей роли третьего сословия. Фуко называет этот дискурс «дискурсом войны рас», а также «первым на Западе историко-политическим дискурсом». Его значение определяется двумя важнейшими характеристиками: 1) он создает доселе небывалого *субъекта истории*, каковой представляет собой ничто иное, как «общество» – «общество, понятое как ассоциация, группа, совокупность индивидов с общим статусом, общими нравами, обычаями и даже особым законом»; 2) имея отчетливую антимоноархическую и, даже шире, антиюридическую и антиэтатистскую направленность, «этот дискурс отрубает голову королю, во всех случаях освобождаясь от суверена и разоблачает его».

Генеалогия теории классовой борьбы, выстроенная Фуко в этом курсе лекций, обнаруживает ряд интересных параллелей с «ревизионистской» линией в западной историографии Французской революции, одним из родоначальников которой считается Франсуа Фюре. Опираясь во многом на идеи Токвиля, «ревизионисты» отказывались видеть в событиях Французской революции переломный момент новоевропейской истории: эти события лишь завершили инициированный королевской властью процесс централизации и бюрократизации общества, сделав его в итоге более послушным и гомогенным. Фуко также лишает события Французской революции их революционного значения. Для него они скорее связаны с этапом, когда аристократический «историко-

политический» дискурс был присвоен добившейся суверенной власти буржуазией и перестал быть дискурсом «общества» в его противостоянии с государством. Тем парадоксальной выглядит историческая роль этого дискурса. Ему, как утверждает Фуко, возможно, и удается «отрубить голову королю» и «разоблачить суверена», но удается только в той ситуации, когда он сам превращается в инструмент суверенной власти нового образца – власти этатизированной буржуазной нации.

На мой взгляд, генеалогический проект Фуко остался незавершенным, поскольку он продолжал мыслить аристократическое «общество» в качестве отдельной социальной группы со своим особым политическим самосознанием. Однако «общество» («раса», «нация»), к которому апеллировали в своих сочинениях граф Буленвилье и другие «реакционные» историки-аристократы, уже в их времена представляло собой целиком историческую конструкцию. Аристократия не могла, да и вряд ли захотела бы, извлечь из нее какие-то бы то ни было актуальные политические выводы. Последние исследования в области социальной истории (в частности, работы Дж. Дювалда), свидетельствуют о том, что аристократия отнюдь не находилась в непримиримой конфронтации с буржуазией, успешно приспосабливалась ко всем модернизационным процессам и сохраняла заметное влияние во всех европейских странах вплоть до первой мировой войны. Тем не менее, аристократия остается важнейшей фигурой новоевропейского исторического письма. Военное происхождение аристократического «общества», воинственный характер вменяемого ему «историко-политического» дискурса всегда будут подталкивать к тому, чтобы видеть в нем идеальную машину сопротивления апроприрующей и репрессивной деятельности государства, и всегда будут давать почву для размышлений о том, насколько корректно и точно нам удается проводить различие между интересами общества и государства, областями истории и политики.

М. П. Лантеева (Пермский ГУ)

Трудности и парадоксы исторической терминологии

Выяснение сущности языковых образов философы сравнивают по степени сложности с выяснением сущности самих явлений, описываемых с помощью той или иной терминологии. Язык историка в большей степени, чем в других науках, зависит от языка эпохи – той, которую изучает исследователь, и той, в которой он живет. Терминологический аппарат наук меняется, но более всего к этому процессу восприимчивы гуманитарные науки. А. Я. Гуревич писал о двойной ответственности историка. Проблема языка – частный случай этой ответственности, полный парадоксов и сложностей. Язык Геродота не похож на язык Карамзина, язык Маколея в такой же степени не похож на язык современного нам историка, в какой XIX век отличается от XX века.

Условность и размытость исторической терминологии хорошо заметна при ее сравнении с терминологией естественных наук. Мыслители XVIII–XIX вв., поставив проблему специфики гуманитарного знания, во многом сводили ее к проблеме языка и, соответственно, понимания смысла текста. В концепции Ф. Шлейермахера герменевтика стала основой любой мыслительной деятельности. Он ввел в свою теоретическую конструкцию автора текста, который необходимо понять. Для В. Гумбольдта язык – это особая реальность. Именно он заострил проблему соотношения языка и реальности. Подчеркнув, что главной формой герменевтики является автобиография, В. Дильтей отметил, что она способна «развернуться в историческую картину» [Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы философии. 1988. № 4. С. 141]. Э. Гуссерль связал проблемы языка с вопросом выживания европейской духовности. Забота о смысле языковых конструкций была для него частью научной этики. Его ученик М. Хайдеггер, озабоченный необходимостью синтеза научного и понимающего мышления, превратил понимание из способа познания в способ бытия. Согласно Хайдеггеру, подлинный язык – это истинное понимание. Ф. Шлейермахер полагал, что понять текст можно только путем сопереживания автору текста, а Г.-Г. Гадамер считал, что личные переживания автора не столь важны для понимания сути ситуации, сколь важно слияние горизонтов читателя и автора. Он писал о необходимости расширять единство смысла, о том, что единичное можно понять только в контексте, а целое только в совокупности конкретных единиц, но его «круг понимания» становился замкнутым кругом.

Попытку разорвать этот круг предпринял М. Хайдеггер, утверждавший, что понимание всегда начинается с некоторого неправильно предположения о смысле понимаемого целого. Различая понимание и познание, Хайдеггер намеревался синтезировать эти мыслительные процессы. Размышляя над возможностью такого синтеза, он разграничивал речь подлинную и неподлинную. Это разделение речи похоже на дифференциацию Ж. Лакана, только у него присутствует иное их наименование: речь пустая и речь полная.

Постмодернистский вызов усилил внимание к языку гуманитарных наук. Р. Барт назвал языковую деятельность бесконечным процессом, в котором каждое новое высказывание не отменяет предыдущее, а пишется как бы над ним. Вероятно, исходя из такого соотношения прежних и новых умозаключений, Ф. Анкерсмит не склонен переоценивать «лингвистический поворот», видя лишь такие его последствия, как эстетизм и возвращение к аристотелевской концепции опыта.

Анализируя проблемы терминологии, мы не можем игнорировать не только реальные, но и потенциальные возможности языка. Согласно У. Эко, «язык не ограничивается теми маршрутами, которые уже приняты культурой, но использует некоторые из них, чтобы прокладывать

новые» [Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. М., 2005. С. 149]. Роль языка исторической науки не может быть ограничена фиксацией и передачей смыслов той или иной исторической ситуации. Его нагрузка гораздо существеннее: от новизны формулировки зависит появление нового смысла, а, следовательно, и знания.

Современные авторы, работающие на стыке философии и лингвистики, подчёркивают такую важную функцию языка, как «функция экономии интеллектуальных усилий» [Н. И. Береснева. Философия языка. Пермь, 2006. С. 62]. Речь идет о ясности языка, его понятности не только профессиональному, но и массовому читателю. Язык современной науки можно представить как систему координат, где понятность – абсцисса, а научность – ордината.

Историки, возможно, более чем другие гуманитарии, заинтересованы в появлении концептуальных идей, проясняющих ситуацию в той части теории науки, которая влияет на язык историка. Понятия позволяют дифференцировать явления и процессы, свойственные той или иной исторической ситуации. Научные понятия фиксируют специфические и существенные признаки изучаемых явлений. Поскольку язык исключительно сложное явление, то амбивалентность исторических процессов как раз и лежит в основе парадоксальности исторических терминов. Чем последовательнее историк пытается понять язык ушедшей эпохи, тем больше такой язык требует перевода на современный язык с учётом принятого в его обществе понятийного арсенала. Возникающая при познании прошлого «кривизна» отображения более всего ощутима в языковой сфере.

Ещё одна причина парадоксальности исторической терминологии связана с усилением процесса интеграции наук. Взаимодействия и взаимовлияния специалистов разных дисциплинарных областей неизбежно приводят к понятийным заимствованиям. Обратим внимание на то, что термины и категории имеют своеобразную родовую память, привязанность к истоку. Их использование в другом научном контексте требует и корректности применения, и убедительного обоснования того нового смысла, который историк привносит при употреблении заимствованного понятия. Распространённая практика некорректного применения понятий, за которыми в других науках закрепился определённый смысл, приводит историка к ситуации сомнительной новизны, исходящей только из необычного применения «чужого» термина.

Основания для парадоксальности терминологии даёт и наличие смысловых слоев, как эксплицитных (явно выраженных), так и имплицитных (скрытых, неявных). Лингвисты предупреждают о способности языка к изменению и выявлению новых смыслов в сопряжении слов. То, что на поверхности образует некую словесную игру, может стать причиной непонимания, обусловленной парадоксальностью смысла.

Историческая компаративистика: эпистемология и дискурс

Историческая компаративистика включает в себя три составляющих линии: *объект* и *предмет* компаративных штудий (явления, которые сопоставляются), компаративную *эпистемологию* (метод и аналитические процедуры) и компаративное *описание*.

Предмет компаративистских исследований не может быть результатом произвольного выбора объектов и явлений – необходимы критерии отбора, составляющие *принцип достаточного основания*. Адекватной эпистемологической экспликацией этого принципа можно считать *гипотезу*. Другими словами, компаративистское исследование нельзя начинать без такого предпосылочного знания, которое обосновало бы выбор объектов и предметное поле. Что касается эпистемологии компаративного исследования, можно выделить три основных языка:

1. «Наивная» (имплицитная) компаративистика, которая наиболее полно манифестируется в текстах иностранцев о чужих землях, когда описание наблюдаемой культуры осуществляется с помощью кодов собственной культурной среды.

С целью анализа компаративистского письма целесообразно рассмотреть исторические тексты, которые интенционально являются компаративистскими: записки иностранцев о другой стране, письма и дневники путешественников, паломников, дипломатов, травелоги. Такие тексты можно назвать компаративистским «наивом», хотя бы потому, что сциентистская составляющая не является в них доминирующей, если вообще присутствует. Для точки зрения иностранца характерен дифференциал несовпадения культурных кодов, и, как следствие, ошибки в прагматической линии повествований. Нарративы иностранцев позволяют носителю описываемой культуры остраниться и тем самым по-иному увидеть собственную культурную ситуацию. Непонимание прагматики чужой культуры приводит к порождению в описаниях иностранцев фиктивной событийности. Подобная «текстовая событийность» превращает повествования иностранцев, пишущих, например, о России, в сложноустроенный компаративистский дискурс. Поскольку компаративистская оптика иностранца «вмонтирована» в самое сознание, полнее всего она явлена в его дискурсивных формах.

Господствующей риторической стратегией текстов «наивной компаративистики» является *метафорическая стратегия*.

Риски языка наивной компаративистики состоят в буквальном понимании иностранцем некоторых «непрямых» выражений, особенно идиоматических. Неточность или неполнота перевода «с культуры на культуру» приводят к фактическим искажениям и ценностным абберрациям: своя культура выступает как «правильная», наблюдаемая – как отклонение и более низкая в развитии.

2. Иной язык – сравнительные исследования, в основе которых заложен принцип «общее/особенное» (инвариант/трансформации). Здесь

ставится задача реконструировать инвариант сопоставляемых объектов и описать веер несовпадений. Когда В. Н. Топоров сравнивает два дневника: дневник А. Тургенева и японский дневник Исикава Токубоку, то такое сопоставление предполагает выделение некоего общего субстрата, характерного для личного дневника вообще, независимо от временной и культурной дистанции.

Риски, возможные при компаративных изысканиях этого типа, заключаются в том, что в качестве образца может быть взят один из сопоставляемых вариантов, что недопустимо как факт выведения метаязыка из объекта описания.

3. Третий возможный язык – когда в качестве эпистемологического основания выбирается та или иная *теоретическая модель*. Историю человеческого общества можно описать при помощи марксистской формационной модели, цивилизационных моделей или ментальных структур. Это зрелый метаязык, позволяющий достичь, в рамках избранной теоретической модели, целостной исторической картины.

Риски таких описаний могут заключаться в отрыве теоретической модели от эмпирического материала, что зачастую приводит к искажению этого материала в угоду избранному метаязыку.

Проблема **компаративного описания** состоит в том, что полем эпистемологических опытов оказывается компаративистский текст, который не является «прозрачным стеклом» и имеет собственное «тело». Вот почему анализ компаративистских текстов позволяет реконструировать теоретические посылки авторов в случае, если прояснится структура и характер самого описания.

Основной единицей сравнительного исторического описания является *историческая параллель*. Сравнение событий, биографий, исторических процессов принадлежит к фундаментальным эвристическим процедурам, так как приводит к порождению новых смыслов, которых не было в сопоставляемых феноменах. Приращение смысла происходит, вероятно, потому, что при сопоставлении возникает новый контекст понимания за счет коннотативного шлейфа, который несут сравниваемые события. Историческая параллель как компаративистская единица находит свое адекватное воплощение в такой нарративной фигуре как метафора. Метафора оказывается идеальным способом схватывания сущности общего в различном и различного в общем.

Компаративистский дискурс, таким образом, соединяет референтные феномены (то, что сравнивается) с семантическими явлениями письма (риторическими фигурами), и репрезентируется в особом типе письма, который можно обозначить как *компаратив*. Компаратив сочетает нарративные отрезки с генерализирующими описаниями, стремящимися к метафорическому типу семантической организации.

Актуальным становится разработка *компаративного источниковедения, компаративистской историографии*, так же как *компаративной эпистемологии*.

Категория «дискурс» в историческом познании

Воздействие интеллектуальных вызовов постмодернизма в последней четверти XX – начала XXI в. привело к тому, что одной из характерных черт современного гуманитарного знания становится рефлексия по проблеме объективности в исторической науке, возможности рационального познания и адекватной оценки прошлого. Своеобразным консенсусом в наметившемся противостоянии постмодернистской парадигмы и парадигмы традиционного классического историзма явился произошедший в 1990-е гг. «культурологический поворот». В результате одним из центральных вопросов исторических исследований стал вопрос о том, как действующие лица истории изменяют социокультурные реалии своего существования и деятельности.

В этих условиях особое значение приобретает осмысление характера связи между историком и историческим источником, или историческим текстом в постмодернистской трактовке этого термина. В результате в процессе познания на первый план выходит проблема расшифровки, декодирования исторического текста, а, следовательно, и проблема постижения языка (в его специализированных формах), посредством которого создан данный текст. Корпус текстов (наборов символов и знаков), связанных определённой содержательной согласованностью можно определить как дискурс [Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263–2000). М., 2007. С. 21]. Обязательным условием существования и функционирования любого дискурса является акт коммуникации. В процессе исторического исследования в качестве такого коммуникативного действия выступает непосредственно работа историка с источником, предполагающая определённый мыслительный процесс.

Исторический источник может рассматриваться как промежуточная стадия дискурса, если понимать под дискурсом совокупность речемыслительных действий обоих коммуникантов: продуцента исторического источника и реципиента, в роли которого в процессе научного познания выступает историк. В то же время исторический источник, как и любой текст, представляет собой объективно существующий факт действительности, являющийся продуктом определённого дискурса. Рассмотрение исторического источника в таком ракурсе коррелирует с предложенной ещё в рамках неокантианской парадигмы трактовкой источника как объективированного продукта человеческой психики.

Исторический источник как продукт определённого дискурса представляет собой своеобразную смыслодержущую и одновременно смыслопорождающую систему. Такой подход предполагает наличие определённого дотекстового сообщения, которое находит своё выраже-

ние в тексте исторического источника. Именно на этой презумпции построена модель «смысл — текст». В таком случае исторический источник как текст представляет собой «информационную упаковку», в которой в закодированном виде содержится смысл, направленный тому или иному адресату [Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Его же. Семиосфера. СПб., 2000. С. 155]. Разворачивая эту «упаковку» и стремясь постичь заложенную в неё автором мысль, историк вступает в контакт с другой культурой.

Акт межкультурной коммуникации генетически связан с сущностью текста, которая, как отметил М. М. Бахтин, «всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов» [Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/Baht_PrT.php].

В этом ракурсе, отталкиваясь от предложенного Т. ван Дейком расширенного толкования дискурса как сложного коммуникативного явления, включающего в себя социальный контекст, мы можем рассматривать процесс исследования историком исторического источника как дискурсивную практику. [Дейк Т. ван. Анализ новостей как дискурса // Он же. Язык. Познание. Коммуникации. М., 1989. С. 113]. В роли «говорящего», т.е. продуцента, выступает автор источника. Роль «слушателя», или реципиента исполняет историк, исследующий данный текст. В этой трактовке историк, стремясь постичь историческую реальность прошлого, имеет дело лишь с её образом, который выступает предметом исследования. Объектом же выступает дискурс.

Выдвижение дискурса в качестве объекта исторического исследования, а образа в качестве его предмета, тем не менее, не влечёт за собой тезиса о непознаваемости изучаемой действительности. Различия в образах одной и той же действительности в различных дискурсах, фиксируемые в процессе реконструкции, лишь свидетельствуют о многомерности, многоаспектности и многокачественности категории образа. Трактовка образа как субъективной картины мира, которая отражает существующую вокруг продуцента и реципиента реальность и базируется на универсалиях культуры и субкультуры, позволяет историку взглянуть на данный конструкт как на отражение исторической действительности. При этом необходимо учитывать, что конструирование и реконструкция образа протекает под непрерывным воздействием лингвистического и экстралингвистического контекста.

Образ, сформировавшийся в печатном, или письменном дискурсе, являет собой сложную, динамичную систему. Ее взаимосвязанными элементами являются представления о различных сторонах реально существующего предмета. Эти представления объективируются в культурно-лингвистическом конструкте, зафиксированном в локальных и глобальных структурах текста.

Таким образом, историческое исследование определённого дискурса представляется целесообразным проводить на трёх уровнях: на микроуровне, представляющем собой изучение «микроструктур», семантических элементов текста (слов, словосочетаний, отдельных формулировок и предложений, отношений и взаимосвязей между ними, их последовательности); на макроуровне, предполагающем постижение темы (семантического макроутверждения), ремы (коммуникативного центра), событийной канвы текста и т.д.; на уровне лингвистического (языкового) и экстралингвистического (социокультурного, политического, экономического и т.п.) контекстов.

Л. Б. Сукина (Университет г. Переславля)

Понятие «категория» в исторических исследованиях средневековой культуры

Категориальный анализ – один из путей выяснения структурной организации средневековой культуры. Он применяется и в отечественной медиевистике, и в историко-культурных исследованиях русского Средневековья. В свое время Д. С. Лихачев осмысливал древнерусскую литературу в категориях времени и пространства. Но среди сторонников этого метода существуют расхождения во взглядах на содержание понятия «категория» в приложении его к средневековой культуре.

Современное философское знание определяет слово «категория» как «предельно общее фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные, закономерные связи реальной действительности и познания». Категории являются формами и устойчивыми организующими принципами процесса мышления и используются как инструменты анализа человеческого сознания не только в философии, но и в других гуманитарных науках. Однако подходы к категориальному анализу в разных научных дисциплинах имеют свою специфику. Так, в выступлении, посвященном роли философии в современных исследованиях культуры, В. С. Степин подчеркнул, что, несмотря на конструктивное и терминологическое сходство, «категории философии и универсалии культуры не тождественны».

В. С. Степин предлагает рассматривать основания культуры как систему особых универсалий или категорий культуры, в которой они представляют собой «жизненные смыслы», заключенные в сознании человека и его деятельности. Категории-универсалии выполняют важнейшие функции в культуре и социальной жизни при формировании целостного образа мира и определяют не только осмысление, но и эмоциональное переживание человеком окружающей действительности. На основе системы культурных универсалий базируются программы

человеческой жизнедеятельности: знания, предписания, образцы поведения и общения, верования, ценностные ориентации и т.п.

Выявить категории современной культуры, смыслополагающие для деятельности человека, вероятно, не так уж сложно, хотя и в этом вопросе могут быть разногласия. Но историк, изучающий европейское или русское Средневековье, не имеет возможности сверить сконструированную им категориальную систему с системой «жизненных смыслов» человека столь отдаленной эпохи, вступив с ним в непосредственный контакт. Он не может спросить у людей того времени, что для них значили слова «правда» и «истина», «вера» и «грех», «благочестие» «Страшный Суд» и т.д. В поисках категорий исследователь Средневековья вынужден обращаться к различным видам источников. И здесь он сталкивается с проблемами вербализации универсалий средневековой культуры в языке современной науки.

В настоящее время можно выделить два основных подхода к наименованию категорий средневековой культуры, принятых в отечественной историографии. Один из них связан с именем А. Я. Гуревича, другой предлагается в работах А. Л. Юрганова.

Внимание А. Я. Гуревича было направлено на изучение «того уровня интеллектуальной жизни общества, который современные историки обозначают расплывчатым термином “ментальность”». Он выбрал лишь несколько компонентов средневековой «модели мира» (время, пространство, право, богатство, труд, собственность, смерть). При этом вопрос, почему именно данные понятия соотнесены категориями, имманентными средневековому сознанию, остается невыясненным. «Умственный состав» средневековой европейской культуры, представленный, в частности, философией и теологией, дает совсем другие понятия, имевшие для человека того времени значение универсалий (душа, тело, интеллект, благо, зло). Осознавая неполноту предложенной системы категорий, А. Я. Гуревич в своей исследовательской практике стремился расширить ее границы, но продолжал настаивать на том, что при категориальном анализе историк должен исходить не из содержания сохранившихся источников, а из собственных исследовательских установок, и при необходимости эти источники «поворачивать».

Принципиально иной подход к категориальному анализу русской средневековой культуры предлагает А. Л. Юрганов. Для него категории являются символическими самоосновами средневековой культуры. Они могут быть обнаружены посредством диалога «мифа исследователя» с «мифом источника», осуществляемого при помощи источниковедения. А. Л. Юрганов справедливо отмечает, что серьезным препятствием на пути категориального анализа русской средневековой культуры является нетерминологичность древнерусского языка. Историк приходится совершать дополнительный лексико-семантический поиск с целью выявления содержания понятий, претендующих на категориальность.

Еще одна существенная проблема – выделение категорий из общей массы понятий разной степени репрезентации. А. Л. Юрганов настаивает на исключении из числа категорий средневековой культуры понятий, которые существовали задолго до Средневековья и существуют поныне (например, «святость»). Он убедительно обосновывает свой выбор антиномичных категорий (пожаловать и благословить, государь-холоп и т.п.). Но остается нерешенным важный вопрос: можно ли применять категориальный анализ к русской средневековой культуре, которая не знала самого понятия «категория»? Заметим, что западные медиевисты часто избегают жесткого определения выделяемых ими универсалистских понятий средневековой картины мира в качестве культурных категорий, даже при их совпадении с категориальными понятиями схоластической философии.

Категориальный анализ при всем его кажущемся соответствии требованиям строгости и структурности научного знания, предъявляемым ныне к исторической науке, должен применяться с большой осторожностью. Необходимо продолжить обсуждение возможностей и сфер его использования в истории культуры, в т.ч. в целях создания типологий средневековой культуры и выявления ее сущностных свойств.

А. А. Сальникова (Казанский ГУ)

«Другое письмо»:

русские детские письменные практики и их специфика

Постановка проблемы «детского письма» стала возможной лишь после признания особого способа детского бытия в мире и способности ребенка к саморепрезентации, в том числе и вербальной. Историкографический прорыв 1960–1980-х гг. положил конец «взрослоцентрированной» традиции в историографии, вернув детей в историю и превратив их в самостоятельный исследовательский объект. Выделение истории детства в особую область исторического знания актуализировало проблемы детского опыта и детского письма, поскольку это исследовательское поле охватывает отныне не только изучение ребенка в историческом прошлом, но и изучение самого этого прошлого, увиденного, осмысленного и запечатленного глазами детей.

«Детское письмо» как феномен было порождено особыми репрезентативными стратегиями и тактиками, особым способом существования ребенка в детском мире – мире, четко ограниченном от мира взрослых и в то же время органично вписанного и неотъемлемого от него. Поэтому оно представляет собой приобщение («научение»), «стремление» к взрослому письменному канону и одновременно тяготение к детскому речевому стандарту, желание сохранить и закрепить его «на письме», иначе говоря, текстуализацию детских дискурсивных практик.

«Детское письмо» обычно и вместе с тем маргинально, это «другое» письмо, стремящееся стать «своим». Оно есть соотношение детского и взрослого в их неравномерности, постепенном выравнивании, а затем в вытеснении и замещении одного другим. Причем корреляция между этим взрослым и детским может быть весьма неожиданной и неочевидной. Так, например, столь распространенные «тайные» детские языки (Г. С. Виноградов), семантически представляющие собой обычно лишь прибавление к каждому слогу известного лишь «посвященным» дополнительного слога или простую «тарабарщину», есть ни что иное, как по-детски изобретательный способ изолироваться от взрослого мира, сделать свою жизнь «непрозрачной», и в то же время привести взрослую «непонятность» в детский языковой мир, повысив его статус и уравнив его по значимости с языковым миром взрослых.

Основной концепцией «детского письма» является, безусловно, концепция детского авторства. Она, в свою очередь, определяется по возрастному принципу и оказывает системообразующее воздействие на прочие характеристики текстов, являющихся результатами детского творчества (в частности, на содержание, жанр, структуру текста и его стиль). Как показал Ф. Арьес, детство (как и возраст вообще) есть категория историческая, и в разные исторические эпохи под «детством» понимались разные хронологические периоды. Но поскольку речь идет о письме, отсчет, вероятно, следует начинать с первых шагов ребенка по обретению письменных навыков и способов самовыражения до момента полного (но не окончательного) приобщения к взрослому письменному канону. Канон как некий нормативный образец, как категория по определению устойчивая и неизменяемая, есть на самом деле явление весьма подвижное, изменяющееся, исторически, социально и политически обусловленное и зависимое, с точки зрения его формы и содержания. Все это касается и письменного канона. Изживание детской «примитивизации» письма и освоение взрослой письменной культуры может произойти в разном возрасте, а может не произойти совсем. И многое здесь зависит не только от уровня грамотности (и шире – образованности, поскольку именно образование является одним из наиболее важных механизмов приобщения к существующему языковому канону), но и от степени востребованности письменной практики в пространстве повседневности. Так, трудно изживаемый по мере взросления ребенка «примитивизм» является, пожалуй, одной из отличительных черт раннесоветских «детских» текстов «рабоче-крестьянского» происхождения. Даже вторая половина XX в. – период «всеобщей грамотности» населения страны Советов – дает нам многочисленные примеры взрослых «примитивных» текстов, положение которых в пределах общего советского мегатекста отнюдь никак не назовешь маргинальным.

В то же время, образцы «детскости» во «взрослой» культуре, в т.ч. и в языковой, и в письменно фиксированной, отнюдь не являются ис-

ключением. На языковом «пуерилизме» была основана большевистская «преобразовательная» лингвистическая политика первых лет советской власти, облекавшая властный дискурс в простые и доступные языковые формы, понятные и близкие детям, поскольку обретавшие «советскость» массы «простого трудового народа» были по большому счету теми же детьми. Внимая революции, они обожали «простого» Демьяна Бедного с его пропагандистскими «полудетскими» интонациями и образами и отстранялись от «сложного» Александра Блока.

«Детское письмо» разноречиво, неравномерно и многослойно. Дерридаистское понятие письма как сочетания «голоса, молчания и шумов» в приложении к детским текстам предполагает «расслышивание» того, о чем в тексте вообще умалчивается, и транскрибирование того, что, казалось бы, даже отвлекает от основного содержания, но создает постоянный и естественный фон нарративного изложения. Поэтому герменевтическое прочтение детского письма таит в себе множество сложностей, препятствий и вероятных заблуждений. Проблема «ребенка воображаемого» («imaginary child») порождена в значительной степени неумением, неспособностью и отчасти нежеланием войти в языковое поле ребенка, увидеть и оценить языковые картины не только детского, но и взрослого мира, а, оценив, – понять и принять их. Тогда произойдет переход от упрощенного представления о «детском письме» как лишь о переходной ступени к освоению и присвоению взрослого письма к осознанию «детского письма» в его значимости как особого способа творческого поиска форм дискурсивной выразительности.

И. Г. Серёгина (Тверской ГУ)

Материалы следственных дел 1937–1938 гг. и их критика

Критика является одним из важнейших элементов источниковедческого анализа. Она способствует определению подлинности источников, их авторства, датировки, достоверности содержащейся в них информации. В истории существуют периоды, когда достоверность информации источников этого времени подвергается сомнению и в силу этого нуждается в особенно тщательной проверке.

Одним из таких периодов в отечественной истории являются годы советской власти. Вопрос о том, насколько можно доверять различным видам советских источников, от официальных документов до материалов личного происхождения, становится особенно актуальным. Многие из этих документов были засекречены и недоступны как для широких слоёв населения, так и для профессиональных историков. К засекреченным документам, в силу их целевого назначения и политической ситуации, относились и в какой-то мере продолжают относиться материалы следственных дел времён массовых репрессий, в частности 1937–38 гг.

Следственные дела – один из массовых источников по истории политических репрессий. Это комплексный источник, состоящий из

различного вида документов: ордеров на обыск, протоколов обысков, произведённых у обвиняемых, справок сельсоветов о социальном положении обвиняемых, справок об их состоянии здоровья, семейном положении, об отбытии ими сроков предшествующих наказаний, анкет арестованных, характеристик на подследственных, протоколов допросов подследственных, протоколов допросов свидетелей, обвинительных заключений, выписок из протоколов троек НКВД, выписок из актов о приведении приговоров в исполнение и др.

Следственные дела важны для изучения «большого террора» в СССР. Информация, содержащаяся в них, позволяет найти ответы на многие вопросы: о характере следствия и тщательности его ведения, о жертвах «большого террора», о роли, которую играли местные органы власти в ходе следствия, об отношениях между людьми, о том, как воспринималась политика власти населением, о взаимоотношениях внутри семьи в наиболее сложное для неё репрессивное время и др.

Работая с материалами следственных дел необходимо иметь в виду, что информация, содержащаяся в них, могла подвергаться корректировке. Протоколы допросов велись следователями, которые в силу разных обстоятельств могли неточно записывать показания подследственных, оформлять документы задним числом. Основную массу подследственных и свидетелей составляли неграмотные или малограмотные крестьяне, которые не могли проверить содержание протоколов допросов, хотя практически во всех изученных документах в конце каждого листа имеется подпись обвиняемого или свидетеля по делу. Информация, содержащаяся в делах, должна была соответствовать требованиям обвинения, установленным для целевых групп оперативным приказом народного комиссара внутренних дел СССР № 00447 от 30 июля 1937 г. При рассекречивании следственных дел и передаче их в начале 1990-х гг. в государственные архивы из их состава извлекались отдельные документы, например, доносы на обвиняемых.

Учитывая специфику следственных дел как исторического источника, нельзя отрицать их значимости при изучении массовых репрессий. Несмотря на то, что следствие проводилось в короткие сроки, было максимально формализовано и часто фальсифицировалось, корпус источников, сформировавшийся в его ходе, несёт важную информацию, которая должна быть введена в научный оборот. Изучение материалов массовых следственных дел позволяет сделать вывод о том, что они не подвергались тотальной фальсификации. В частности, в каждом следственном деле содержится уникальная информация о жизни обвиняемого, представленная в различных документах. В целом язык протоколов допросов обвиняемых свидетельствует о том, что в них зафиксирована устная речь конкретных людей с присущими ей нюансами, специфическими оборотами, речевыми ошибками.

Таким образом, материалы следственных дел, наравне с другими источниками, должны привлекаться к изучению при исследовании «большого террора» в СССР.

**Познание «другого» через исторический нарратив
(на примере анекдота)**

Феноменологический подход к историческому источнику трансформировался в XX в. в источниковедческую парадигму методологии истории. Исторический источник рассматривается в качестве «реализованного продукта человеческой психики», результата целенаправленной деятельности, а в задачи историка входит не только установление фактов исторической действительности, но и познание через источник «другого» – человека прошлого. Познание «другого» возможно через любой исторический источник, независимо от его видовой принадлежности. При этом для установления «контакта» историка и человека прошлого наиболее продуктивно изучение нарративов, так как в них, в отличие от законодательных, статистических или делопроизводственных документов, целенаправленно закладывались определенные идеи, предлагались трактовки и интерпретация событий.

При работе с текстами возникает проблема интерпретации. Актуальным остается вопрос, верно ли историк сумел декодировать информацию, заложенную в источнике, видит ли он именно тот смысл, который вкладывали в него люди эпохи, в которую он был создан.

Среди нарративных исторических источников особое место занимает анекдот, который с точки зрения типологии (ее критерием является способ хранения информации) обладает двойственностью. С одной стороны, он представляет собой фольклорное явление, следовательно, его можно отнести к источникам устного типа. Будучи устным источником, он находится в постоянном развитии. С другой стороны, анекдоты публиковались и публикуются. Это означает, что из устного источника они превращаются в письменные. Опубликование анекдота означает его фиксацию, «смерть». Однако напечатанный анекдот может быть реанимирован и вновь переведен в устную форму, если читатель находит его интересным, актуальным и рассказывает кому-либо.

Одна из особенностей анекдота – анонимность. Даже если доподлинно известен автор того или иного сюжета, анекдот все равно анонимен. После рождения этот вид исторического источника существует сам по себе и является плодом коллективного творчества рассказчиков, передающих его из уст в уста. При этом подлинный автор анекдота уже не в состоянии повлиять на дальнейшую жизнь своего творения. Более того, претензии кого-либо на авторство той или иной истории воспринимаются окружающими со скепсисом.

Анекдот в отличие от летописей, художественных, публицистических произведений и пр. нарративных источников, функционирует в своеобразной герменевтической реальности. Писатель после публика-

ции произведения не может изменить созданную в нем реальность, но конкретный анекдот способен меняться в течение неопределенного времени: даже если он был опубликован, это не означает его жесткой фиксации. Любой человек, прочитавший анекдот, имеет право вновь придать ему жизнь как устному произведению, внося свои коррективы и интерпретации. Отсюда вытекает и еще одна особенность анекдота, произрастающая из его фольклорных корней – поливариантность.

Информативность анекдота включает два аспекта: фактографический и аксиологический. Ценность анекдота как источника получения фактической информации невелика. Обусловлено это, во-первых, его формой, вытекающей из особенностей фольклорного жанра (по объему история не должна быть большой, иначе внимание слушателей рассеивается, и они просто перестают слушать), а во-вторых, тем, что его авторы часто не владели соответствующей фактической информацией. Кроме того, они не ставили целью отразить что-либо «полно» и «объективно». Зачастую информация фактического характера, содержащаяся в анекдотах, неполна, ошибочна и не соответствует действительности.

Более ценным для исследователя является аксиологический аспект информативности анекдота. Использование анекдотов в качестве источниковой базы наиболее эффективно тогда, когда ученый пытается постигнуть менталитет изучаемого общества в целом или отдельного социального слоя, стремится понять «человека прошлого», его замысел, установки, идеи, которые он вкладывал при создании анекдота.

Анекдот позволяет проникнуться духом изучаемой эпохи. Но и здесь возникают проблемы. Не всегда наш современник видит именно тот смысл, который вкладывали в анекдот люди эпохи, в которой он был создан. Ведь одной из особенностей анекдота является (и являлась) некая недоговоренность, намек, который должен понять и оценить слушатель. Именно в некоей недосказанности, необходимости самостоятельного «додумывания» и заключается нередко «соль» анекдота.

**Часть II. ИСТОРИЯ ПОНЯТИЙ/ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА.
К 85-ЛЕТИЮ РЕЙНХАРТА КОЗЕЛЛЕКА**

Ингрид Ширле (Германский исторический институт в Москве)

«Переводить неперебиваемое»? Сравнительная историческая семантика понятий «гражданин» и «гражданское общество»

Масштабные проекты немецкой Begriffsgeschichte завершены или близятся к завершению¹, но методы и подходы, разработанные Рейнхартом Козеллеком и его сотрудниками и учениками, продолжают плодотворно применяться. Несмотря на недавнее заявление, что данный методологический подход «отжил» свое [Gumbrecht H. U. Dimensionen und Grenzen der Begriffsgeschichte. München, 2006], «история понятий» сумела найти новые перспективы и развивается в форме исторической семантики, о чем свидетельствуют, например, новые книжные серии немецких издательств, посвященные исторической семантике (серия «Historische Semantik» в издательстве Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen), а также запланированное в этом году создание Центра по исторической семантике при университете города Франкфурт-на-Майне.

Традиционный подход «истории понятий» был обогащен новыми ракурсами и перспективами²:

– Изучаются уже не отдельные слова и понятия, а семантические поля и дискурсы.

– Расширяется круг предметов исторической семантики: помимо языка изучаются и символы и практики – все то, что образует значение.

– Использование компьютерного оборудования расширяет возможности квантитативных исследований.

– Интенсивно обсуждаются методы и перспективы сравнительной исторической семантики. Р. Козеллек вместе со своими сотрудниками У. Шпрее и В. Штейнметцом представил первые результаты такого подхода в статье «Три гражданские мира? О сравнительной семантике гражданского общества в Германии, Англии и Франции»³.

¹ Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (Hg.). Bde. 1–8. Stuttgart, 1972–1997; Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680–1820 / R. Reichardt (Hg.). Bde. 1–19/20. München, 1985–2000.

² См.: Steinmetz W. 40 Jahre Begriffsgeschichte – The State of the Art // Sprache – Kognition – Kultur / H. Kämper, L. M. Eichinger (Hg.). Berlin, 2008. S. 174–197.

³ Koselleck R., Spree U., Steinmetz W. Drei bürgerliche Welten? Zur vergleichenden Semantik der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland, England und Frankreich // Bürger in der Gesellschaft der Neuzeit. Wirtschaft–Politik–Kultur / H.-J. Puhle (Hg.). Göttingen, 1991. S. 14–58.

На основе этой работы компаративные исследования французского, английского и немецкого полей будут дополнены в моем докладе изучением семантики понятий «гражданин» и «гражданское общество» в русском языке XVIII – начала XIX вв. Я исхожу из предположения, что в это время социально-политические понятия «гражданин» и «гражданское общество» развивались и приобрели современное значение. На данном, начальном этапе транснационализации исторической семантики в центре исследований будут находиться процессы трансфера и взаимосвязи. Предполагается обсуждение следующих тем и вопросов:

– Процессы перевода понятий из одного языка в другой. В ходе интерлингвальной трансляции происходит столкновение зафиксированных в понятиях различных опытов, приобретенных отдельными сообществами. Об этом свидетельствуют трудности при переводе – для ранней фазы рецепции новых категорий характерно многообразие его вариантов. (Данное тематическое поле будет представлено на примере переводов произведений Монтескье, Беккарии, Блэкстона, Юсти, Бильфельда и статей из «Энциклопедии»).

– Процессы адаптации: например, расширение значений слов, дифференциация понятийного аппарата и образование неологизмов. Функция словарных импортов в языковой системе.

– Сопоставление дискурсов, в которых были задействованы исследуемые понятия. Изучение общественных процессов, в ходе которых развивались семантические поля.

– Рассмотрение взаимосвязей полей «гражданин» и «гражданское общество» с другими понятиями и с другими семантическими сетями.

А. А. Сидеев (Тверской ГУ)

Проблемы изложения исторического знания в немецкой историографии 1960–1980-х годов

Соприкосновение с историей для большей части людей происходит не напрямую, а опосредованно через многочисленные тексты историков, в которых излагается их представление об историческом знании. С учетом развития современного инструментария получения исторического знания, например с помощью устно-исторического метода, создаются даже особые виды текстов источников, появляющиеся «под контролем» историков. Количество текстов и способы их обработки представляют одну из наиболее существенных проблем современного гуманитарного знания в целом. Отнюдь не случайно М. Бахтин указывал на анонимность природы текстов, на то, что исследовательский текст – континуум заимствованных и собственных идей. Сложность, с моей точки зрения, не только в этом и даже не в постмодернистских утверждениях о множественности индивидуальных дискурсов. Сложность заключена в том, что текст историка должен появляться на свет

осознанно с точки зрения природы текстообразования, с учетом особенностей научного исторического текста.

Проблема изложения исторического знания является частью «сотворения истории». В различных национальных школах их профессиональная зрелость обусловлена, в том числе, и разработкой подходов к столь сложным проблемам. Самоосмысление историков в рамках тех или иных историографических школ проходит несколько этапов. Например в рассматриваемый период немецкие историки намного чаще обращались к теоретической мысли Л. фон Ранке, И. Г. Дройзена и др. немецких авторов XIX – начала XX вв. и намного меньше к своим французским коллегам. А. Я. Гуревич писал, что Рейн стал своеобразной границей на пути диалога интеллектуалов. Объяснение этому следует искать и в том, что равноправное участие в диалоге зависит от степени самоосмысления национальных исторических школ и наличия в них собственных ответов на те или иные проблемные вопросы.

1960–1980-е годы для интеллектуального пространства как Запада, так и Германии – особое время. Оно характеризуется завершением послевоенного восстановления, успехами на пути складывания новой модели западного общества. Для историков это означало поиск новых уровней, методов, способов изложения исторического материала. В Германии формируются новые школы, например «билефельдская школа». Р. Козеллек, Ю. Кокка, В. Конце, Т. Шидер и др. занимаются разработкой проблем теории исторического знания.

Что касается проблемы изложения исторического знания, то следует обратить внимание на следующее:

1. Признается, что «язык» не должен ограничиваться простым изложением материала, т.е. быть «языком информации». В подобном понимании язык является некой системой знаков, группируемых с помощью стилистических и жанровых средств.

2. Научный язык историка имеет особый характер. Он связан с определенными «духовными системами, на которых основывается». Поэтому он может быть языком *анализирующим, описывающим, синтезирующим*. Следовательно, заданность в выборе языковых средств/языка находится в некоторой зависимости от того, каким образом историк понимает то, что за «духовная система» оказывает на него влияние. Спорно, почему данная система не полифункциональная, а монофункциональная. Менее спорно, с моей точки зрения, утверждение о потенциальной предопределенности неких внутренних закономерностей, на основании которых происходит доминирование анализирующего, описывающего или синтезирующего дискурса;

3. Конкретные «темы» – жанры – также предопределяют, как будет структурироваться и какими доминантами может обладать исторический текст. Как правило, рассматриваются пять «тем»/жанров: *универсальная история* (с 1960-х гг. под углом зрения антропологического подхода); *история эпохи*; *монография по материалам национальной истории* (особо подчеркивается, что история в этом случае – элемент

национального сознания); *биография*; *проблемно-историческая монография* без привязки к национальному материалу. Отмечается, что в последнем случае доминирует тенденция к абстракции.

Обращение к лингвистике в рассматриваемый период актуализирует проблему формирования/структурирования авторского текста. Историк предлагается задуматься над вопросом, а как он может и должен определять и использовать язык как систему? Другим не менее важным вопросом является вопрос о языковой специфике этапа изложения собственного материала в научном исследовании. Речь также идет о важности понимания историком жанрового инструментария. В основе авторского дискурса, являющегося частью типичных дискурсивных моделей и практик того или иного социума, таким образом, лежат потенциальные варианты группировки текста.

Проблема изложения исторического материала до сих пор остается нерешенной, хотя пути ее решения, возможно, лежат в изменении подходов к историческому образованию, усилению в стандартах лингвистической составляющей в рамках неисторических предметов.

Е. Е. Савицкий (ИВИ РАН / РГГУ)

**Что общего между историей понятий
и теорией многоуровневых темпоральностей?
Особенности рецепции Р. Козеллека в 1980–2000 гг.**

Что объединяет эти две разные сферы исследований Р. Козеллека? Скажем для начала: то, что они обе устарели, как и переизданные Козеллеком в 2000 г. его рассуждения 1972 года о том, должна ли история быть теоретичной. Кто сегодня понимает теоретичность истории как соотношение частных исследовательских результатов с более общим фоном? Теоретичность истории в наше время – это уже совсем другое. Так же и с темпоральностями и понятиями. Есть скепсис относительно описания глобальных временных структур и относительно возможностей истории понятий. Их постигла та же судьба, что и «анализ дискурса» в духе Фуко – более широкая (и одновременно более конкретно-специфическая) контекстуализация этих изысканий, как правило, подрывает их выводы. Истории понятий неизбежно приходится работать с понятиями, вырванными из их контекстов, пытаться собрать их в некоем метаконтексте, а со времен Лиотара такие стремления выглядят не только научно неубедительными, но и сомнительными в политическом смысле. Наконец, и это главное, померкла вера в то, что обзаведясь всеми возможными словарями исторических понятий, мы получим непосредственный или даже хотя бы опосредованный доступ к прошлому.

В этом смысле мне кажется неправильным пытаться делать из Козеллека вечно актуального автора. Честнее сказать, что его идеи имели свое время, и в какой-то мере это время истекло уже при жизни Козел-

лека, который в последние годы занимался главным образом тем, что переиздавал собственные тексты и разъяснял их в различных интервью.

То, с чем мы имеем дело сегодня – это, с одной стороны, борьба за наследие Козеллека, стремление одних не отдать его в руки «конструктивистов», стремление других подчеркивать в его работах высказывания, субверсивные по отношению к традиционному «реализму» исторической профессии; и те, и другие находят для этого во множестве дававшихся Козеллеком интервью необходимые цитаты.

С другой стороны, есть гораздо более честные попытки не столько поставить себе Козеллека на службу, сколько признать, что единственное, что мы можем делать с его работами – это включать их в рамки наших собственных проектов, по-своему их использовать. Как раз в таком ракурсе, мне кажется, имеет смысл говорить о будущем работ Козеллека, о Козеллеке в XXI веке. Из проектов, так или иначе использующих идеи Козеллека, наиболее интересными представляются три:

1. Проблематика режимов историчности, как она формулируется у Ф. Артога: время не является какой-то априорной формой восприятия вещей, естественным и единичным способом их упорядочивания. Режимы историчности так или иначе связаны с социальной организацией нашего опыта, с его идеологичностью – например, в плане исключения современным историзмом измерения будущего, о чем пишет Артог. Отчасти, это упрек и в адрес Козеллека, имевшего отношение к комиссиям по созданию «общего европейского прошлого», расширяющим настоящее на прошлое и будущее. Но в этой критике современных режимов историчности оказываются важны сами концепции Козеллека – что нет единого измерения времени, что если в рамках одной темпоральности «событие А» следует за «событием В» и современно «событию С», то в другом темпоральном режиме все будет иначе, и потому не может быть никакого нейтрального оперирования историка со временем, это всегда чье-то время: время государственных органов контроля, время крестьянского мира, время индустриального рабочего и т.д. С этим связана и проблематика соотношения времени и пространства, столь важная для Козеллека – проблематика структурированности нашего опыта времени пространственными понятиями (время «идет», «бежит» и т.д. – уже здесь видно, как теория темпоральностей и история понятий пересекаются). Если опыт времени организован как пространство, то можно говорить и о его обратимости – качестве, которым не обладает абсолютное время, о снятии лжепроблемы «абсолютной временной дистанции», которая отделяет нас от «подлинных вещей».

2. Эта проблематика пространственности, во многом как следствие специфической рецепции Козеллека, оформилась в особое направление, в связи с которым в последние 5-7 лет иногда говорят даже о «пространственном повороте» в историографии. Это как раз исследование того, каким образом опыт истории пространственно опосредован, в самых разных аспектах. Это и влияние географических пространственных структур на историю, в смысле, близком к изначальным концепци-

ям Р. Козеллека и Ф. Броделя; но это и исследование того, каким образом наши конструкции времени имплицитно следуют неким определенным пространственным образам: например, когда рассуждения об обществе и его исторических проблемах подразумевают обычно пространство национального государства; или когда исторический нарратив выстраивается как одномерное, гомогенное, линейное пространство; когда историзация отношения к прошлому вытесняет конкретные понятия пространства абстрактными (*milieux, lieux*) и т.д. Близка к этой проблематике «постколониальная критика». То есть, как и во времена «лингвистического поворота», возникает целый ряд новых озабоченностей историка, которые не позволяют ему заниматься своим ремеслом так же, как раньше, а заставляют его по-новому продумывать ход своей работы на самых различных стадиях.

3. Концепция создания «присутствия» прошлого, в частности путем «несемантического» рассмотрения понятий [Гумбрехт Г. У. Производство присутствия. М., 2006; Он же. 1926 год. М., 2005.]

Этот перечень современных рецепций Козеллека – отнюдь не исчерпывающий. И такие толкования работ Козеллека могут вызвать яро- стный протест среди многих «знатоков» его работ. Тем не менее, без идей Козеллека вся эта проблематика не могла бы возникнуть. В любом случае преимуществом этих подходов представляется то, что они не расчлениют наследие Козеллека на отдельные инструменты, «отмычки» для прошлого, вроде отдельной истории понятий и отдельной теории темпоральностей, используемых сугубо прагматически.

Понятие «нового», «новизны», его историчность было тем, что постоянно занимало Р. Козеллека, было одной из любимых его тем. И можно сказать, после своей смерти он все-таки участвует в дальнейшем историческом изменении этих понятий – по крайней мере, в том, что касается понятия новизны в историографии.

Катя Рууту (Финляндия)

**Будущее, прошлое и настоящее
в российской конституционной политике.
Российские конституции с точки зрения истории концептов**

В моем докладе при помощи метода истории понятий исследуются изменения конституционных концепций в России. Доклад концентрируется на шести конституциях, принятых в России / Советском Союзе. Традиционная преемственность и политические различия шести конституций будут рассмотрены в качестве ключевых тем. Конституционные идеи и терминология, привнесенные администрацией президента Путина, будут рассмотрены на основе текстуального анализа предыдущих конституций и их политической подоплеки.

Методологическая основа исследования – идеи Р. Козеллека, связанные с временными слоями в исследовании ключевых конституцион-

ных концептов. Эти методологические инновации сделали возможным рассмотрение даже известного исторического материала в новой перспективе. Различные временные слои составляют ключевой аспект нарратива, обосновывающего преемственность, а также переосмысляющего конституционное единство во имя стабильности или реформ. В соответствии с идеями Козеллека, я демонстрирую временные слои, использованные при формировании ключевых концептов, при помощи которых конструируются истории о конституционном единстве бывшего Советского Союза и нынешней России. Согласно данному теоретическому подходу, толкование истории и понимание будущего в каждой отрасли столь же спорны, как и анализ и толкование текущей ситуации.

С точки зрения методологии, российские конституционные концепты идеально подходят для использования исторического подхода. Главным достоинством этого подхода является то, что он делает возможным видение истории, состоящей из временных контекстов, сменяющих друг друга. Картина истории создается благодаря интерпретации исторических контекстов; при этом целью является не формирование представлений о хронологической последовательности событий, но анализ представленных идей через интерпретацию текстов, существовавших в специфических исторических контекстах.

Концентрируясь одновременно на динамике изменений и на традиционных «характеристиках» российских конституционных концептов, я имею в виду ключевые ценности и функции терминологии в обосновании и определении политического и общественного единства в каждой ситуации. Я делаю это с использованием моей методологии, сочетая ориентацию на будущее конституционное единство с новыми способами сохранения традиционных принципов единства, концентрируя внимание на прошлом и настоящем, заключенных в этих концептах. Конституционные идеи рассматриваются как система кодов. Это подчеркивается тем фактом, что большая часть политической риторики Советского Союза и России состоит из конституционных терминов. Данный способ кодирования был особенно важен для советского периода, но он так же типичен для российской политики при Путине.

В целом, можно отметить, что конституционный язык СССР был подобен марксистскому коду. В различные периоды использовались догматические положения, относившиеся к различным общественным ситуациям, а также к КПСС. Эти догматические положения рассматривались как способ построения концепций советского государства. Советский марксизм обладал сильным чувством динамики и прогресса, и именно это обеспечивала материалистическая концепция истории. Несмотря на однопартийную систему, Советский Союз, рассмотренный в свете данных концепций, не выглядит монолитной системой власти, можно также увидеть в советской истории тягу к реформам.

Изучая развитие конституционных идей, можно оценить как их охранительную, так и реформирующую стороны; вместе они преобразуют наше понимание государства в различные политические эпохи.

**Историко-семантический анализ
как метод исследования общественного сознания**

Отечественные гуманитарные науки, едва начавшие вписываться в конце 1980-х гг. в «лингвистический поворот», практически одновременно стали испытывать воздействие происходившего в мировом масштабе «когнитивного поворота», который выразился в возросшем интересе к проблеме сознания и, в частности, к «истории понятий».

Вместе с тем практически все исследования политической и социальной терминологии не идут дальше уточнения смысла и содержания понятий с учетом их исторической составляющей как инструментов познания прошлого или настоящего (об опасности инструменталистского подхода к языку неоднократно предупреждал Г.-Г. Гадамер).

Если предметом «истории понятий» является формирование понятийно-терминологического аппарата гуманитарных наук и социально-политических теорий, то предметом истории общественного сознания должна стать история понятий, обозначающих феномены сознания. Прежде всего, это касается отвлеченных (абстрактных) понятий.

Методом исследования, соответствующим предмету, должен стать метод историко-семантического анализа общественного сознания. Такой анализ представляет собой органический синтез достижений философии языка, лингвистической семантики и герменевтики.

В настоящее время, в эпоху приходящую на смену Постмодерна, разрушены или, по крайней мере, находятся в процессе разрушения основания парадигмы, в рамках которой сложился проект Модерна. Адекватный анализ каких-либо явлений или феноменов, возникших внутри этого проекта, с помощью методов, имеющих те же основания, что и сами эти феномены, невозможен.

Актуальным для наступающей эпохи должно стать понимание смысловой изменчивости существующих в общественном сознании понятий. Включение в основание новой рациональности представления о *мерцании* этих понятий из темной глубины времени, т.е. об изменчивости и одновременном постоянном присутствии множественности смыслов в каждой из их лексических форм, взятых в отдельности, придаст этой новой рациональности подлинно историческое измерение.

Исходный тезис историко-семантического анализа как метода исследования: естественный язык – это знаковая система общественного сознания. Одновременно мы исходим из представления о тотальной историчности общественного сознания и, соответственно, языка как

его знаковой системы. М. Хайдеггер писал: «Нет никакого естественного языка <...>, чтобы он был языком неисторической, естественным образом наличной человеческой природы. Всякий язык историчен, даже там, где человек не приобщился к историографии в новоевропейском смысле» [Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 271].

Сфера общественного сознания конкретна исторической эпохи, в соответствии с тезисом Л. Витгенштейна о совпадении границ познания мира с границами языка, совпадает со сферой языка данной эпохи. Позднее Витгенштейн предложил вернуть слова от метафизического к их повседневному употреблению. Он определял значение того или иного понятия или выражения только по его употреблению [Витгенштейн Л. О достоверности // Вопросы философии. 1991. № 2. С. 72]. В свою очередь изменение лексических значений, фиксируемое в языковой практике, свидетельствует об изменении смысла соответствующих понятий в общественном сознании, что дает основание говорить и об изменении описываемых этими понятиями феноменов или явлений в процессе социальной практики.

Метод историко-семантического анализа позволяет наиболее адекватно, через анализ изменения смысла понятий, используемых в рамках определенных дискурсов для описания политической и социальной реальности, выявить изменения общественного сознания. Составляющей частью метода историко-семантического анализа является дискурсивный анализ, в рамках которого возможно объединение лингвистической, когнитивной и социальной точек зрения в описании и объяснении понятий. Тезис Ж. Лакана о том, что «бессознательное структурировано как язык», получает свой действительный смысл только в том случае, если язык осознается как знаковая система общественного сознания, трансцендентальная по отношению к каждому отдельно взятому носителю языка и определяющая его. Если в качестве постулата принять положение о том, что в языке как действительном коллективном сознании содержатся все возможные на данный момент времени смыслы, то он действительно будет коллективным бессознательным для его носителей, не способных одновременно осознавать их.

Метод историко-семантического анализа предполагает признание главной функцией языка как знаковой системы общественного сознания не коммуникативную функцию, а познавательную. Принципиальным в рамках этого метода является отказ от функционализма и, соответственно, от жесткой логики причинно-следственного мышления. Не менее принципиальным является и отказ от использования метафоры «развитие», понимаемой как развертывание имманентно присущего, изначально заложенного, в пользу нейтрального термина «изменение», не имеющего прогрессивных или регрессивных коннотаций.

**На грани «области опыта» и «горизонта ожиданий»:
перспективы и проблемы изучения общественно-политической
мысли в контексте истории понятий**

В современной российской и зарубежной историографии внимание исследователей часто привлекают субъективные и коллективные представления, стереотипы и мифологемы, формировавшие мировосприятие человека в прошлом, его отношение к различным процессам и явлениям окружающего мира. Интерес к этой проблематике актуализировал проблему поиска методов работы с текстом источника, которые позволили бы корректно, не разрушая авторской логики, выявить систему представлений, ассоциативных связей, надежд или опасений, имевшихся у создателя документа.

Методологической основой для выработки такого рода методов может стать признание взаимосвязи общественного сознания с языковой практикой в устной и в письменной форме. Ориентиром для работы исследователей в этом направлении является инструментарий «истории понятий», основоположником которой был Р. Козеллек. По его мнению, особое внимание следует уделять так называемым «узловым понятиям». Их содержание формирует новые или корректирует уже сложившиеся представления о месте личности в историческом процессе, сущности и функциях государства, границах свободы гражданина в социуме и т.д. Такие «узловые понятия» всегда находятся между «областью опыта» и «горизонтом ожиданий» и, следовательно, отражают знания как о существовавших правовых нормах, повседневной практике и результатах определенных действий, так и надежды или тревоги, связанные с перспективами развития каких-либо общественных процессов [Geschichtliche Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Stuttgart, 1997].

Этот подход позволит более адекватно исследовать процессы распространения различных политических идеологий без механического причисления авторов к «либералам», «консерваторам», «реакционерам» и т.п. Изучение истории общественно-политической мысли методами истории понятий поможет определить различные течения в подвижной системе социально-политических представлений и отдельной личности, и определенной социальной группы. При этом важно помнить, что процесс освоения политических идеологий неразрывно связан с заимствованием новых или корректировкой значений уже знакомых понятий, с их встраиванием в существующую языковую картину мира. В зависимости от того, насколько точно понятие фиксировало наиболее существенные признаки явления или процесса и какие негативные или позитивные ассоциации оно вызывало у современников, понятие становилось инструментом для выражения имевшегося социального опыта или возникших в сознании современников опасений и надежд, связанных с

представлениями о возможных изменениях в стране и мире. Именно поэтому целесообразно исследовать и негативные, и позитивные коннотации таких понятий как, например, «свобода», «закон», «государство», «конституция», «гражданин», «собственность» и др., используемые в рамках экономического и социально-политического дискурсов.

Сравнительный текстологический анализ материалов периодической печати, законодательных актов, литературно-публицистических произведений, а также многочисленных проектов и записок, созданных в первой четверти XIX в., позволил выявить систему взаимосвязей всех указанных выше понятий. Каждое из них корректировало и дополняло значение другого, подчеркивая те смысловые акценты в его содержании, которые были приемлемы в данное время и в определенной социальной стране. Так, например, понятие «конституция» в России начала XIX в. было синонимом словосочетания «коренной закон» и содержательно было связано с принципами верховенства закона, соблюдения прав и свобод граждан, идеей сословного представительства как инструмента помощи императору, но, одновременно, вызывало негативные ассоциации с революционными событиями во Франции [Тимофеев Д. В. Понятие «конституция» в России первой четверти XIX века // *Общественные науки и современность*. 2007. № 1. С. 120–131].

История понятий неразрывно связана с методами дискурс-анализа и контент-анализа, которые предоставляют возможность выявить сложную картину исторического прошлого во всем многообразии трактовок основных социально-политических понятий. Это помогает избежать схематизма, показать пластичность, подвижность общественно-политических настроений. Однако в процессе конкретных исследований возникает две принципиально важные проблемы. Во-первых, необходимо выработать критерии отбора источников, обеспечивающие репрезентативность полученных выводов. Очевидно, что основное внимание должно быть сосредоточено не на количественных характеристиках, а на видовой принадлежности используемых текстов, установлении необходимого и достаточного комплекса источников, который отражал бы различные значения изучаемых понятий, как в рамках официального делопроизводства и законотворчества, так и на уровне неформального личностного взаимодействия индивидов. Во-вторых, недостаточно разработанным является вопрос о взаимозависимости между различными трактовками основных социально-политических понятий и деятельностью государства, а также между вербально закрепленным значением какого-либо понятия и повседневной практикой отдельной личности. Решение данной проблемы, на мой взгляд, связано с определением механизмов и результатов трансляции значения какого-либо понятия личностью и государством, посредством законов и судебных решений, проектов преобразований, научно-публицистических материалов. В случае успешного решения указанных проблем история понятий может стать эффективным инструментом изучения истории общественно-политической мысли в различных странах мира.

**Социокультурный концепт — выбор метода
в историческом исследовании: теоретические аспекты***

Современная наука рассматривает «концепты» как одну из главных категорий человеческого сознания. Отечественные специалисты противопоставляют «концепты» абстрактным категориям и формализованным понятиям как выражение субъективного отношения к фактам ментальной культуры. Согласно Ю. С. Степанову, концепты культуры соединяют отдельные представления в единое целое. Указывая на близость «концепта», по его строению, «понятию», ученый уподобляет «концепт» смыслу слова. В то же время проводится различие между «понятием», «смыслом» и «концептом», исходя из их соотносительности с определенными логическими системами.

Нельзя сказать, что историки пренебрегают использованием и осмыслением существа концептов, но, к сожалению, пока речь может идти в основном об эмпирических наблюдениях. Зарубежная историческая наука, накопившая довольно богатый опыт изучения исторически сложившихся концептов, зачастую также не достигает уровня теоретического знания. Примером служит хорошо известный труд С. Рейнолдса «Королевства и общины в Западной Европе. 900–1300» (Oxford, 1984). В нем автор призывает постигать историческое прошлое посредством анализа концептов, которыми руководствовались люди изучаемой эпохи, а не полагаться на современные исследователю представления.

Но далеко не всякий историк видит в «концепте» нечто большее, чем просто «понятие». В этом плане позитивным шагом нужно считать изыскания С. С. Неретиной, которая пишет, что идея концепта ориентирована на субъектность любой вещи и ее интенцию. Показательно, что отправным пунктом исследования в указанном направлении избрано Средневековье, эпоха, когда идея концепта была введена в обиход. Тогда под «концепцией», как поясняет С. С. Неретина, понимали акт «схватывания» вещи в уме субъекта, предполагавшее единство замысла и творения. «Концепт» интерпретируется как универсальная связь вещей и высказываний, отнюдь не тождественная «понятию».

С распространением когнитивизма как междисциплинарного направления науки «концепт» прочно занял заметное место среди других научных понятий, относящихся к исследованию структур знания, познавательных процессов, категоризации мира и к содержательной стороне языка. Тем самым существо «концепта» оказывается связано с природой отражаемого им мира и функциями человеческого сознания.

В когнитивных науках, как показала Л. А. Микешина, «концепт» обозначает единицу ментальных ресурсов сознания и информационной

* Исследование выполняется по проекту РГНФ № 08-01-00186а.

структуры, отражающих знание и опыт человека. Он играет роль «кванта» знания, который идентифицируется с основной единицей хранения и передачи информации. «Концепты» выступают в виде разного типа образов, представлений, понятий и их объединений, рождающихся в процессе восприятия мира, в актах познания, отображая и обобщая человеческий опыт и осмысливаемую действительность. Роль языка, по Е. С. Кубряковой, заключается в объективизации результатов того, как мир воспринят в сознании. Существование разного рода концептов признают в качестве доказательства феномена коллективного сознания.

Будучи ментальными образованиями, соответствующими вероятностной природе окружающего мира, «концепты» с присущей им сложной стохастической структурой обязаны ею обыденному сознанию, которое отличают приблизительные, но сходные у членов одного социума оценки (М. В. Никитин). «Концепты» важны в той мере, в какой они играют роль звена, неразрывно связывающего целесообразную деятельность человека с возрастающей его независимостью от природы. Концепты и концептуальные системы обнаруживают себя как в ментальной, так и в предметной деятельности человека, где объективируются с помощью языковых средств.

Для историков в когнитивном процессе большое значение имеют критерии социальности как неперемного атрибута исторического познания. Посредником в познавательном процессе выступают семиотические концепты идеальных категорий, без которых немисливо воссоздание системных отношений (Н. Д. Арутюнова). Тем самым, каждый изучаемый «концепт» предлагает программу реализации познавательных процедур. Они, отвечая современной научной практике и способствуя формированию обобщающих представлений на новом теоретическом уровне, составляют действенный метод исторического исследования.

М. А. Юсим (Институт всеобщей истории РАН)

Нормативная лексика историка

Всякая нормативность условна, а тем более в науке: табуированной лексики здесь, видимо, нет. Но исследователь сталкивается с многообразными проблемами языка, связанными с его суггестивностью, с использованием понятийного аппарата, адекватностью перевода и т.п. Обозначим такого рода проблемы, с которыми имеет дело историк.

1) Внушение. Язык обладает известной мерой объективности по отношению к человеку, он предлагает ему привычный ход мысли, а иногда и определяет его поступки. Культурная коммуникация строится на цитатах, формирующих, с одной стороны, культурный багаж, а с другой – однотипность реакций. Это способ передачи ценностей от поколения к поколению, способ бытования истории в широком смысле; сегодня он вытесняется шаблонами, навязываемыми рекламой и массовой культурой (сменившими «народную»).

2) Багаж науки воплощается в ее понятийном аппарате. Понятия в истории обладают особой важностью, т. к. они являются и средством описания, и результатом научного обобщения, итогом предшествующего развития и поводом для постоянного переосмысления изученного.

3) Понятия гуманитарных наук имеют расширительный и неоднозначный характер. Они возникают в определенное время и обозначают переходящие вещи, но в качестве научных приобретают некий метафизический смысл (такие как «революция», «абсолютизм», «модернизация», «Средние века», «Возрождение», «история», «событие», «источники» и пр.) Используя их, мы вовлекаем комплекс разнообразных значений, в том числе и ценностных, которые выглядят самодостаточными, не требующими пояснения. Но в действительности их надо ставить под сомнение (деконструировать). Все понятия условны, а исторические понятия еще и привязаны к индивидуальным феноменам, ценность которых заключается в их неповторимости.

4) Невозможна однозначность понятий, в которых описывается меняющаяся жизнь общества. Отсюда – сложность перевода, не только с одного языка на другой, но и с языка прошлых эпох на современный. (Поэтому историки склонны использовать кальку в передаче терминов, хотя такой простейший путь не всегда правилен). Возникает вопрос о допустимости и рамках применения современных терминов («политика», «дипломатия», «информация») для описания прошлого – действительно ли они универсальны или искажают смысл исторических событий и процессов? К «восстановлению правильного» звучания (Хайне вместо Гейне) нужно подходить осторожно, не отбрасывая традицию.

5) Слова и формулы имеют субъективный и ценностный аспект, у них есть сила убеждения и даже принуждения. Науки создают собственные языки не только в инструментальных целях, но и стихийно, для сплочения посвященных и отсеечения непосвященных. История часто засоряется необязательными «научными» терминами, которые не несут значимой нагрузки и заменяют более простые и понятные слова (например, «релевантный» вместо важный, «социальная коммуникация» вместо дарение, общение, в русском языке эти «латинизмы» особенно заметны). Речь идет о том, чтобы критически относиться к своей речи и использовать специфические понятия там, где они уместны и необходимы.

6) Нормативность в языке науки, наверное, как таковая не существует и не приемлема, можно говорить лишь о наличии переходящих и условно общепринятых принципов, которые в каждый момент или период позволяют ученым общаться и понимать друг друга. Но поскольку наука предполагает постоянное обновление, она допускает и даже требует критического, а иногда иронического отношения и к своим ценностям, и к своему предмету. Этот принцип вытекает из игровой природы науки: она имитирует действительность и экспериментирует с ней, хотя и с серьезными целями преобразования самой действительности.

Определенный набор правил и критериев, путь и подвижный, должен сохраняться, как начало, организующее любую деятельность.

ЧАСТЬ III. ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

В. В. Носков (Санкт-Петербургский Институт истории РАН)

Философия истории как учебная дисциплина

Философия истории как учебная дисциплина играет особую роль в процессе подготовки профессиональных историков. Помимо формирования специальных знаний, изучение философии истории способствует развитию общей культуры студентов. Этот предмет открывает широкие возможности для постижения духовной истории человечества и позволяет рассмотреть ее основные аспекты в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Философии истории воплощает в себе квинтэссенцию гуманитарного знания, противопоставляет чрезмерной сциентизации и является важнейшим барьером против экспансии вульгарного социологизма, который господствует в сфере социальных наук и продолжает деформировать систему гуманитарного образования.

В процессе реформирования системы исторического образования, сложившейся в России, представляется необходимым значительно увеличить долю общеисторических дисциплин, без глубокого знания которых изучение конкретной истории зачастую лишается смысла. Важнейшее место среди них должна занять философия истории. Значение курса философии истории заключается, прежде всего, в его интегративном характере, позволяющем мобилизовать знания студентов по всему комплексу исторических дисциплин и по всем разделам как отечественной, так и всеобщей истории. Наиболее близкой к философии истории областью является историография. Принципиально важно, что развитие современной историографии сопровождается переосмыслением архаичного идеала научности, слепое следование которому во многом объясняет перманентный кризис исторического познания. Значение курса философии истории возрастает в связи с тем, что она находится в близком родстве с современными направлениями исторических исследований, которые практически не представлены в учебных программах, а в связи с «болонизацией» российского образования рискуют навсегда остаться за их рамками. К их числу относятся, прежде всего, «новая культурная история» и «новая интеллектуальная история». Не случайно, что в процессе становления «новой интеллектуальной истории» произошло самоопределение «новой философии истории», ориентированной уже не на науку, а на литературу и искусство.

Свои требования к преподаванию философии истории предъявляет глобализация, поскольку изучение глобального мира вообще невозможно вне философско-исторического подхода. В последние десятилетия проблематика философии истории значительно расширилась

благодаря подъему национального самосознания в странах «третьего мира». Ярким примером может служить «философия освобождения», разрабатываемая мыслителями Латинской Америки. Еще одним важным фактором, способствующим повышению значения философии истории в современном мире, является неослабевающий интерес к эсхатологии.

При построении учебного курса необходимо определить, что представляет собой философия истории. Преобладающий ныне сциентистский подход ведет к нивелированию реально существующего разнообразия форм познания, направлен на их сведение к общему знаменателю, к упрощенно понимаемому идеалу «научного знания». Необходимо поэтому отказаться от понимания философии истории как науки, во-первых, и как философской дисциплины, во-вторых. Несмотря на то, что философия истории действительно родилась в лоне философии, уже в германской классике произошло ее самоопределение относительно собственно философии. Существует достаточно оснований, чтобы рассматривать философию истории как особую форму познания, соединяющую в себе познавательные возможности философии и истории. Философия истории, подобно философии, ищет «первоначала», но в то же время дает ключ к пониманию каждого конкретного явления; общее и частное одинаково важны для нее.

Необходимо также размежевание философии истории с теми научными дисциплинами, которые пытаются брать на себя ее функции, не обладая необходимым для этого познавательным потенциалом, в частности, с социологией и социальной философией. Особую проблему представляют взаимоотношения философии истории с «методологией истории», которая по своей сути вполне укладывается в рамки традиционной позитивистской науки. В связи с этим отметим полную беспомощность всех существующих ныне определений «методологии истории». В еще большей степени это касается другого наукообразного фантома – так называемой «теоретической истории».

В свое время М. М. Стасюлевич особо подчеркивал, что для философии истории возможно только «историко-критическое существование, но не догматическое». Сформулированный им принцип является основополагающим для курса философии истории, поскольку она должна изучаться именно в процессе своего исторического развития, а не как совокупность неких догматов в стиле истматовского катехизиса. При построении курса философии истории ключевое значение имеет вопрос о периодизации ее собственной истории. Философия истории является порождением христианской цивилизации, во-первых, и феноменом новой истории, во-вторых. С момента зарождения философско-исторической мысли поворотные моменты и высшие взлеты в ее развитии всегда были связаны с кризисами в реальной действительности, поэтому периодизация развития философии истории должна строиться вокруг наиболее значимых кризисов в истории человечества.

О статусе современной методологии истории

Началом современной методологии истории я считаю статью К. Г. Гемпеля 1942 года. Это начало аналитической философии истории, задачей которой было превратить историю в науку типа *science*. Методология истории в последующие годы концентрировалась вокруг понятия научного объяснения.

Со времен А. С. Данто [*Analytical Philosophy of History* (1965)] началась противоположная тенденция – воплощения истории в контекст гуманитарных наук. Ф. Анкерсмит, Х. Уайт, М. Фуко, Р. Барт, Г. Г. Гадамер, П. Рикер вывели мышление об историографии в сторону понимания ее как литературного жанра, риторического произведения и вообще культурного феномена. К этому добавим такие направления современной гуманитарной мысли, как нарративизм, текстуализм, деконструктивизм, которые ввели новые контексты понимания истории и разных форм присутствия исторического мышления в культуре.

В итоге трудно выделить стандартное знание в области методологии истории, хотя, конечно, можно указать на определенную традицию мышления или подобрать определенное методологическое знание, с точки зрения интересов той или иной программы изучения истории, той или иной традиции национальной историографии.

В докладе раскрывается концепция методологии истории Ежи Топольского – одного из основателей современной методологии истории.

В. В. Шапаренко (Сочинский гос. ун-т туризма и курортного дела)

Соотношение философского и исторического компонентов в учебном курсе «Методология истории»

Курс «Методология истории», пожалуй, самый философский из всех исторических дисциплин. Коренное перерождение философии в начале 1990-х гг. повлекло за собой отход от канонических теоретико-методологических условий написания исследовательских текстов, в т. ч. и написания истории. Философия сегодня представляет собой свободный поиск, открытый диалог, независимые усилия познать действительность. Новым смыслом наполнилось и понятие теории, которая предстаёт как открытый, динамичный, достраиваемый взгляд на мир.

В условиях преобразования философии неизбежна модернизация самой философской исторической дисциплины, «Методологии истории». Однако какова мера такой модернизации? Что подлежит обновлению, а что в курсе не утратило актуальности в наши дни?

Исторический компонент курса, к которому мы можем отнести конкретные исследовательские методы, актуален и традиционен. Здесь не потерял значимости базовый труд И. Д. Ковальченко «Методы исторического исследования», который обогащён и современен исследованиями Н. А. Мининкова, О. С. Поршневой, А. В. Бочарова.

Философский компонент курса, к которому можно отнести теоретико-методологические конструкты, требует модернизации и реконструкции. Представляется, что перспектива обновления учебного курса «Методология истории» может состоять в том, чтобы привести историческую теорию в соответствие с обновлённой философской. Однако университетская практика преподавания требует определённой системности. Таким образом, необходимо выстроить простую и понятную, вневременную систему исторической эпистемологии, которая будет открыта для любых возникающих теорий.

В Сочинском государственном университете туризма и курортного дела в рамках подготовки учителей истории в течение ряда лет апробирован следующий подход. После курса «Философия» в 3-м семестре студентам (в качестве спецкурса) в 4-м семестре читается «Зарубежная философия истории», затем в 5-м семестре преподаётся «Отечественная философия истории и методология истории». Изучаемые зарубежные и отечественные философско-исторические концепции прошлого и настоящего, являясь абстрактно-теоретическими взглядами на историческую действительность, дают студентам палитру возможных оценок и анализа исторического процесса. Однако при этом важно формировать понимание того, что философско-историческая концепция не является теорией. Философско-историческая теория – это последовательное, складывающееся в систему развитие какой-то идеи, оправданной временем, прошедшей критику, поддержанной членами научного сообщества. По сути, это уже методологическая категория.

Курс «Методология истории» является синтезирующим. Студентам, уже имеющим философско-теоретическую базу, даются понятия исторической теории, методологии, общенаучных и конкретно-исторических методов и основных современных теоретико-методологических направлений – парадигм, представляющих различные познавательные ракурсы (эволюционно-диахронный, системно-синхронный, синергетический, постмодернистский, герменевтический, феноменологический и когнитивный). Таким образом, при помощи понятия парадигмы создаётся открытый, развивающийся образ исторической эпистемологии, позволяющий расширять познавательные горизонты студентов, формировать у них не конечную, а динамичную эвристическую модель исторического познания.

**Методология исторического исследования
в конце XX – начале XXI в.: категории и принципы**

В конце XX – начале XXI в. методологической базой историографии стран Запада и новейшей историографии постсоветского пространства являются в основном принципы позитивизма, феноменологии и герменевтики. М. Хайдеггер выделил основные компоненты феноменологического метода – редукцию, конструкцию, деструкцию, писал, что в его основе лежат такие категории мышления как понимание и выявление. Он подчеркнул: «Истинность есть выявление, ...истинность есть нечто субъективное» [Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб., 2001. С. 12, 284].

Многим историкам феноменологические методы заменяют генерализирующие концепции и линейный детерминизм. Это же относится и ко всем формам современного позитивизма, который постулирует следующие принципы: модель развития социальных наук предлагают науки о природе; социальные науки идеалистичны: они исходят не из материальных объектов, но из мысли; метод определяет всё остальное [Бенетон Ф. Введение в политическую науку. М., 2000. С. 97]. Позитивизму принадлежат такие познавательные-методологические категории как релятивизм, верификация, эмпиризм.

В труде «Бытие и время» М. Хайдеггер говорит о том, что научное познание имеет форму циклического, самопознаваемого экзистенциально-герменевтического круга. Это исключает необходимость доказательности и научной аргументации в историческом исследовании. В качестве примера можно привести теорию цивилизационного циклизма О. Шпенглера. В свое время Э. Фримен и А. Тойнби выделили два типа понимания сути всемирной истории, которые не нуждаются в доказательствах: циклический взгляд на историю и идею единой истории. В основе субъективно-идеалистических методологических программ лежит иррациональное [К. Ясперс. Смысл и назначение истории].

Методологическая суть герменевтики изложена Г.-Г. Гадамером в труде «Истина и метод». Историк должен всегда находиться «внутри истории» – вот краеугольный камень герменевтики. В трудах сторонников герменевтики «душевная деятельность как таковая» получила определение менталитета, а изучение исторической ментальности стало одним из направлений современной герменевтической историографии.

Большое внимание «истории ментальностей» уделяли представители школы «Анналов», ей посвятил свои труды российский историк

А. Я. Гуревич. В 1990-х гг. история ментальностей быстро развивалась и в Беларуси (Г. А. Антонюк, А. Б. Мискевич, Т. И. Баталко и др.).

Методологической основой различных направлений социальной историографии служит классический постулат априоризма: «исторические факты суть факты психологические». Поэтому «исходной точкой» при анализе фактов, событий, явлений в исторической антропологии, социальной истории, микроистории, психоистории является субъект, его «жизнь и жизненность», его понимание основ постоянства и изменчивости исторической реальности. Что касается влияния постмодернизма, то его можно проследить в белорусской историографии на примере работ И. В. Варивончика, И. Р. Чикаловой, А. В. Курило и др.

Рассматривая методологическую проблематику нельзя обойти вниманием сферу междисциплинарного взаимодействия. Наибольшее влияние испытали методы тех социальных наук, предметная область которых близка истории. В первую очередь это относится к социологии, антропологии и демографии. Попытка социологов выработать целостный взгляд на общество породила целую серию «синтезирующих» структуралистских концепций: теорию габитуса П. Бурдьё, концепцию социальной коммуникации Ю. Хабермаса, теорию самореферентных систем Н. Лукмана и др. Все социологические теории второй половины XX века в основном базируются на методологическом инструментарии феноменологии Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, их последователей и на постулатах позитивизма. «Ахиллесова пята», которая преследует эти теории при попытке применить их для исторического анализа – проблема сочетания идеи социального порядка и сломов этого порядка (системы) в эпоху революционного переустройства общества.

В последней трети XX в. обществознание столкнулось с новым методологическим вызовом. Синергетика предложила иной тип мышления и действия. Особенность российского подхода к исследованию синергетических проблем состоит в том, что внимание акцентируется на кооперативных явлениях и процессах, на аттракторах и дистракторах, формах и способах становления целостности, системных «катастрофах», эволюции систем в момент обострения и т. п. На основе синергетики российские исследователи предприняли попытку создать новое научное мировоззрение – мировоззрение глобального единения, но в силу ряда причин эта попытка пока не увенчалась успехом. С опорой на органично включенные в синергетику принципы диалектики развивается альтернативное направление синергетической теории в Беларуси (Э. М. Сороко, В. Н. Сидорцов и др.).

**Методологическая культура обучающего
в условиях вызовов современного мира**

Системное падение уровня образования ставит проблему теоретико-методологической оснастки современного учебного процесса острее, чем в перестроечные годы. Это, прежде всего, касается круга гуманитарных дисциплин и, особенно, истории. Теоретико-методологическая сумятица кризисного периода, трансляция ценностей общества потребления – таков контекст бытования системы российского высшего образования, в пространстве которого редки случаи подлинно открытого диалога студента и обучающего. Отчасти в трансформированном виде это отражает ситуацию, свойственную пространству западного образовательного процесса, в котором оказалась репрессирована главная смысловая установка системы образования, в особенности гуманитарного – нести культуру в том самом высоком смысле слова, которая подразумевает формирование личности с ориентацией «быть», а не только или не столько «иметь». Чтобы пробудить интерес студента к проблематике этико-гуманистического свойства («Кто мы, откуда, куда мы идем?») недостаточно соответствующих мотиваций обучающего. Как никогда важным становится наличие у него адекватной вызовам времени и ресурсным возможностям науки теоретико-методологической культуры.

Пласт проблем высшего исторического образования, лежащий на поверхности, связан с восстановлением «живого лица истории». При всех усилиях по укоренению в образовательном процессе дисциплин историко-антропологического плана и рассмотрению явлений в фокусе психологии, на практике тенденции «оживляжа» превалируют над подлинной исторической реконструкцией. Причина – методологическая анархия, позволяющая процветать теоретико-концептуальной неразборчивости. Как итог – далеко небезобидные исторические мифы, которые преподаются студентам. Скажем, рисуя психологический портрет Сталина в терминах психопатологии, преподаватель занимает позицию сродни той, что распространена в интерпретации феномена фашизма в ФРГ, где основная проблема сводится, по сути, к вопросу «Как могла целая нация оказаться подвластна такому лидеру?», что уводит историков от изучения социальной психологии тех, кто оказался «в плену» его харизмы.

На страницах вышедших в последние годы учебников и учебных пособий стало куда больше историко-антропологических мифологем, нежели в «застойное» советское время. Неслучайно и то, что они противоречат друг другу. Скажем, миф о терпеливости русского народа, кочующий из книги в книгу, конкурирует с противоположным – о нетерпеливости, как национальной черте, проявившейся в бунтарском поведении. Как правило, для обоснования той или иной мифологемы авторы прибегают к избирательной подборке источников, а также научно-образному объяснению причин того или иного явления.

К числу проблемных мест такой системы относится и увязывание историко-психологического ракурса рассмотрения исторических явлений, основанного на профессиональном психологическом инструментарии, с «объективным» контекстом их бытования. Эта связь предполагает не только наличие корпуса конкретно-исторических знаний, но и умение соотносить его с макротеориями и формулировать непротиворечивую гипотезу в алгоритме *histoire totale*. Тот же феномен сталинизма, объясненный лишь в рамках теории тоталитаризма и авторитарной личности Э. Фромма, оставит массу вопросов, в т. ч. вопросы ее спецификации на германской и российской почве: к примеру, почему сталинский режим в большей степени основывался на применении насилия в отношении своего народа, в то время как в Германии преобладали идеолого-пропагандистские средства. Для построения гипотезы потребуются, помимо дополнительных инструментов историко-психологического анализа, знания фактов и макротеорий, относящихся к истории Средних веков. Но как добиться консенсуса теоретических установок тех, кто читает разные курсы? Решение проблемы зависит от трансформации не только системы образования, но и самой науки. Оно возможно и в «рабочем режиме»: путем диалога в процессе методологических семинаров, отладки учебных программ, согласования их на уровне учебно-методических комиссий.

Более сложный вопрос о принципиальной возможности научного консенсуса, являющегося методологической презумпцией **движения** в направлении *histoire totale*, отнюдь не относится к категории неразрешимых в современном гуманитарном знании. Для этого оно обладает всеми необходимыми ресурсами [Николаева И. Ю. Проблема методологического синтеза и верификации в истории в свете современных концепций бессознательного. Томск, 2005]. Думается также, что социально и профессионально эффективными окажутся лишь те усилия по «пересадке» теоретико-методологического знания и инструментария на почву современного образовательного процесса, которые будут апеллировать к культурной традиции в широком и высоком смысле слова.

С. П. Рамазанов (Волжский гуманитарный институт)

**Место курса методологии истории
в системе теоретико-методологической подготовки историка**

Теоретико-методологические вопросы исторического познания в системе подготовки специалиста-историка рассматриваются не только в рамках курса методологии истории, не вполне удачно названного в Государственном образовательном стандарте 2000 года «теория и методология истории». Такие вопросы неизбежно ставятся в курсе историографии при демонстрации воздействия теоретико-методологических установок ученого на его конкретно-историческую практику. Теоретические аспекты необходимо присутствуют в курсе источниковедения. Вопрос о соотношении методов и методик исторического исследования затрагивается

в курсе вспомогательных исторических дисциплин. В соответствующих курсах изучается использование информатики и математических методов в исторической науке. Эта ситуация требует ответа на два вопроса: о месте курса методологии истории в структуре исторического образования и об устранении дублирования проблем методологии истории, рассматриваемых в различных курсах.

Место курса методологии истории в структуре исторического образования должно определяться целями такого образования. Если курс методологии истории завершает образовательный процесс, то его реальной целью может оказаться осознание студентами своеобразия, принципов и методов исторической науки, а не их обучение применению теоретических знаний в исследовательской практике. Напротив, при постановке курса методологии в самом начале, когда он не опирается ни на исторические знания, ни на собственный исследовательский опыт, задача этого курса может свестись к догматическому усвоению методологических рекомендаций. Постановка курса методологии истории в середине подготовки специалиста-историка, позволяет решить ряд важных задач. С одной стороны, студенты приобретают основы научно-исторических знаний и первоначальные навыки самостоятельной исследовательской работы, а, с другой, остается время творчески применить систематизированные знания по методологии исторического познания. Курс методологии истории может идти после знакомства студентов с методами и методикой источниковедческого анализа, математическими методами исторического исследования, но перед курсом историографии, позволяющим более глубоко осмыслить применимость тех или иных принципов и методов познания прошлого. Содержание же курса методологии истории должно быть скорректировано сообразно тому, как методологические аспекты рассматриваются в предшествующих курсах. Вряд ли целесообразно будет детально исследовать в курсе методологии вопросы о математике, компьютере и истории, о понятии исторического источника и о его соотношении с историческим фактом, а также о методах источниковедческого исследования.

Вопрос о месте и содержании курса методологии истории в рамках двухуровневой системы исторического образования (бакалавр-магистр) может быть решен с учетом специфических задач каждого уровня. С общеисторической подготовкой на ступени бакалавриата может быть связана часть курса, в котором исследуется проблема своеобразия исторической науки, и которая может быть названа «введение в методологию истории». Изучение же вопросов о принципах и методах исторического познания, а также о становлении и развитии методологии истории как специальной исторической дисциплины вполне можно перенести на первый год обучения в магистратуре.

Методологический поиск и ремесло историка

Состояние российской исторической науки чаще всего определяют как кризис, хотя и кризис роста [Коломийцев В. Ф. *Методология истории. От источника к исследованию*. М., 2001]. Если в 90-е гг. его единодушно связывали с кризисом марксистской парадигмы и слабостью отечественной философии истории, то причины сегодняшнего этапа кризиса остаются невыясненными.

Последние 15-20 лет российские историки находились в постоянном поиске новых для себя методов и методик научных исследований. При этом использовался способ «ускоренной модернизации». В силу того, что информационные каналы 1990-х гг. были для большинства исследователей малодоступны, информация добывалась фрагментарно и в профессиональной среде транслировалась слабо. Получалось, что каждый исследователь вынужден был сам для себя изобретать велосипед. Мода на психоисторию и историю ментальностей сменилась на увлеченность гендерной, устной, локальной историей. С не меньшим энтузиазмом были встречены микроистория и синергетика. Адепты всех этих направлений имели возможность консолидироваться на непродолжительное время в рамках того или иного проекта. Говорить о самостоятельности в исследованиях или новаторских подходах в рамках чужих проектов не приходится. В результате в России появились новые исследовательские центры, многие из которых к настоящему моменту уже не существуют. Новых же научных школ, которые бы могли вести равноценный диалог с коллегами из других стран в рамках новых для российских ученых исследовательских полей, за последние годы в России не появилось. Энтузиазм большинства адептов быстро исчерпал себя. Исследования в «новом ключе» остаются на уровне статей, не перерастая в монографии. Отдельные интересные публикации погоды не делают. Довольно часто методологическая невнятность или эклектика выдаются за постмодернизм.

Европоцентризм остается характерной чертой современной российской историографии. Независимо от позиции автора и предмета его исследования, хорошим тоном считается упоминание об «Анналах», Ф. Броделе, П. Нора и др. На них россияне ссылаются так же часто, как во второй половине XX в. на Ленина и Маркса. Присвоение же западных идей эпохи модерна и постмодерна остается на уровне цитат и ссылок. Безотчетная вера в новые методологии оправдала себя далеко не полностью. Наиболее удачно они реализуются российскими медиевистами. Это отчетливо видно, например, по содержанию альманаха «Казус», в котором подавляющее число работ построено на материалах западного Средневековья. Что касается российской истории, то интересы исследователей ограничиваются эпохой Ивана Грозного. Материа-

лов, касающихся XX века в России в альманахе нет. Создается впечатление, что российским историкам легче понять «чужого», «инаковость» и чужую историю, чем попытаться разобраться в самих себе.

Существенным препятствием для упрочения новых методологий в российской исторической науке следует признать легкомысленное отношение многих начинающих исследователей к понятийному аппарату. Свой развитый и общепризнанный понятийный аппарат в новых научных направлениях пока не создан, а чужой, в силу языковых особенностей, продуктивно работает не всегда. Фактически, сегодня мы говорим на разных исследовательских языках. В подтверждении этого вывода достаточно вспомнить о многозначности и малой исследовательской продуктивности терминов «менталитет», «ментальность».

Основная масса диссертационных работ на сегодняшний день выполняется в традиционной для советского периода исследовательской манере. Самым распространенным из «новых» методов продолжает оставаться контент-анализ. Все вышесказанное позволяет утверждать, что антропологический поворот в России на уровне конкретно-исторических исследований пока не состоялся.

Поиск новых исследовательских направлений, как и призыв к объединению на их базе представляется на сегодняшний момент преждевременным. Овладеть ремеслом для историка, впрочем, как и для всякого другого специалиста, необходимое условие продуктивной креативной деятельности. В этой связи определенную тревогу вызывает уровень подготовки историков в профессиональных учебных заведениях. До сих пор, в российских учебниках для вузов теории постмодерна не анализируются. Возьмем, к примеру, последний из получивших гриф учебников для классических университетов [Смоленский Н. И. Теория и методология истории. М., 2007]. В нем автор, возможно обоснованно, называет новые направления в исторической науке подходами. На этом основании он заявляет, что «было бы странным культивировать нечто подобное в университетских аудиториях», и поэтому в предлагаемом пособии «эти подходы используются фрагментарно» (С. 13, 14).

Выгодно отличается от вышеупомянутого учебника курс лекций М. П. Лаптевой [Теория и методология истории. Пермь, 2006]. В нем в равной степени представлены все современные историографические направления и ведущие национальные школы, их представляющие. Такой подход помогает начинающему исследователю объективно оценить методологические поиски XX – начала XXI в. Однако отсутствие грифа и небольшой тираж делают это пособие практически недоступным для студентов и преподавателей.

Основным препятствием на пути овладения ремеслом историка на сегодняшний день следует признать отсутствие учебных пособий по методикам исторических исследований. В связи с этим для подавляющего большинства начинающих исследователей самостоятельный выбор исследовательских стратегий весьма проблематичен.

**Изучение и преподавание «методологии истории»
в Молдавском Государственном Университете**

I. Обсуждение вопросов изучения и преподавания курса «Методология истории» представляется насущно необходимым, поскольку уровень методологической подготовки выпускников ни в коей мере не может считаться удовлетворительным. Говоря о методологической подготовке студентов-историков, нужно определить, какой смысл мы вкладываем в это понятие. Можно выделить его две составляющие: методологическую теорию и методологическую практику. Мобилизация интеллектуальных способностей студентов для усвоения взаимосвязанности этих двух понятий – главная задача преподавателя.

Призыв Лукиана из Самосаты творить для грядущего, не рассчитывая на сиюминутный успех, звучит актуально. Работай, имея в виду все будущее, пиши лучше для последующих поколений и от них добивайся награды за свой труд, чтобы и о тебе говорили: «Это действительно был свободный человек, исполненный искренности; в нем не было ничего льстивого или рабского, и во всем, что он говорил, заключается правда». Достигнуть этого может историк, обладающий солидной методологической культурой.

В этих целях учебный курс был разбит на четыре блока.

1. Генезис методологических проблем истории. Греческий исторический метод и его границы. Геродот и Фукидид, Полибий, Ливий и Тацит. Лукиан из Самосаты. Как следует писать историю. Первые представления о методологии истории. Гегель и Маркс. История как самопознание духа. На пороге научной истории.

2. Философия истории. Идеи, влияющие на историческое исследование. Исторический факт и историческое событие.

3. Методы и принципы исторического исследования.

4. Структура и уровни исторического исследования.

Остановимся лишь на некоторых актуальных проблемах истории Молдовы. С середины 1980-х гг. история стала ареной политических битв, обозначился кризис доверия к историкам. С 1990-х гг. историческая наука встала на путь конъюнктурного развития. Произошел этнополитический раскол историков на «унионистов» (сторонников объединения двух государств) и «молдовенистов» (защитников молдавской государственности). История стала управляемой: каждая из сторон переписывает прошлое. Объективный анализ исторических реалий подменяется, как и прежде, субъективным поиском аргументов в защиту определенных политико-идеологических интересов. Как это объяснить?

Методологическую основу таких позиций очень точно сформулировал Альфред Мейер: «Историография обращена в прошлое и стре-

мится прийти к согласию с этим прошлым. Она может делать это, либо прославляя прошлое, либо вынося ему обвинительный приговор; она может видеть в прошлом трагедию, комедию, героическую легенду или фарс. Каждый из этих подходов отражает ту позицию, которую историк занимает в отношении современного общества и политики, и, соответственно, подразумевает одобрение одной группы или партии и попытку дискредитации другой... Такова одна из причин, по которой некоторые события пересматриваются заново каждой последующей когортой. Историки постоянно переписывают историю. Это переписывание включает среди прочего работу с новыми подходами, новыми моделями и концепциями и отказ от самих начал, из которых исходило прежнее поколение историков. Этот отказ необходим, потому что методологические приемы – от словаря до широких концепций, предпосылок, представлений, освещают одни факты и отношения и затемняют другие». Таким образом, в спорах о давно минувшем мы пытаемся решать современные проблемы. Идет не поиск истины, а подбор фактов для оправдания той или иной концепции. Историк должен быть внутренне свободен в своем выборе. Он не должен быть ангажирован. Настало время обладать собственным взглядом на собственную историю, на историю общности культуры, языка, традиций, корней и т. д. Только в этом случае можно рассчитывать на понимание народом своей истории.

II. Партийность – часть современной жизни, субъективное выражение объективной ориентации социальных групп. По существу, человеку отказаться от партийности так же невозможно, как отказаться от своей социальной позиции. Лишите человека его партийной ориентации – и вы лишите его понимания смысла общественных процессов. Но как быть историку в такой ситуации?

И. Д. Ковальченко отстаивал, в духе своего времени, ленинский принцип партийности: «Партийность может осознаваться или не осознаваться, признаваться или не признаваться исследователем, но она всегда есть и всегда проявляется в познавательной деятельности. Само отрицание партийности в науке является одной из форм партийности». Автор отмечал, что сама по себе партийность не исключает объективности, получения истинных знаний, то есть знаний, которые адекватно отражают изучаемую реальность. В работе И. Д. Ковальченко содержится развернутая концепция соотношения принципов партийности и объективности в процессе научного познания. Партийность может нацеливать на объективность познания. Впрочем, она может также нацеливать на предвзятое искажение прошлого. В идеале «историк зрит на правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно» (А. С. Пушкин).

III. Исследователь–историк должен дополнять принцип объективности принципом объективизма. Последний способствует раскрытию реальных противоречий, проясняет и обосновывает позиции противостоящих сторон, стимулирует поиск истины. Если верно, что в споре

рождается истина, то именно этот подход делает неизбежным спор, в ходе которого оттачиваются и проверяются выдвигаемые аргументы. Для настоящего времени это означает также установление пределов разногласий, поиск взаимно согласованных решений.

IV. Достижение должного уровня знаний у обучаемых возможно путем усиления концептуальной целостности преподавания. Мы подводим студентов к выводу: теоретическое мышление каждой эпохи есть исторический продукт, принимающий в различные времена очень разные формы и вместе с тем очень различное содержание [К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 20. С. 366].

А. В. Корневский (Южный федеральный университет)

Индивидуализация обучения как метод трансляции междисциплинарных подходов в образовательную практику

Развитие современного гуманитарного знания демонстрирует высокую продуктивность междисциплинарных подходов и исследовательских стратегий. Многочисленные методологические новации второй половины XX в. способствовали взаимопроникновению различных гуманитарных наук и возникновению новых дисциплин «гибридного» характера. Разумеется, столь значимые изменения в сфере науки должны найти отражение и в образовательной практике. Но отразить их в полной мере не представляется возможным. Образование – более инерционная сфера деятельности, чем наука, и не может трансформироваться с той же скоростью, с какой появляются новые направления исследований. К тому же, сама природа междисциплинарного дискурса предполагает его многогранность и изменчивость, что неизбежно вступает в противоречие с институализированным характером образования. Наиболее продуктивным способом решения этой проблемы является не увеличение числа специальностей и специализаций, а индивидуализация учебного процесса. Перспективность такого подхода подчеркивается в документах Болонского процесса. Так, в Грацкой декларации 2003 года отмечается, что Болонский процесс должен способствовать внедрению гибких индивидуализированных образовательных траекторий.

В связи с этим заслуживает внимания разработанная в 1993 г. в Варшавском университете система междисциплинарного индивидуального гуманитарного образования (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne - MISH), нацеленная на содействие самоопределению студентов в процессе обучения и преодолению междисциплинарных барьеров в профессиональном образовании гуманитариев. Суть ее заключается в том, что студентам, демонстрирующим способности к научной работе и проявляющим интерес к междисциплинарным исследованиям, предоставляется право перехода на индивидуальную образо-

вательную программу, формируемую и реализуемую под руководством тьютора. Помимо дисциплин базового учебного плана индивидуальная программа включает предметы, преподаваемые на других факультетах, а также курсы междисциплинарного характера, разработанные непосредственно для обучающихся по программе MISH.

Данная система легла в основу программы междисциплинарного индивидуального гуманитарного образования (МИГО), реализуемой с 2006 г. в Ростовском ГУ, ныне ЮФУ. В 2007 г. этот проект получил поддержку программы TEMPUS (грант CD_JER_27111_2006). С октября 2007 г. в ЮФУ начал действовать постоянный методологический семинар для обучающихся по программе МИГО; с января 2008 г. запущен в эксплуатацию сайт программы. Формируется комплекс инновационных учебно-методических пособий и материалов для обучающихся по программе, в т. ч. пособие «Введение в междисциплинарные исследования», хрестоматия, содержащая тексты, ключевые для понимания методики и методологии междисциплинарных исследований, аналитические обзоры публикаций по проблеме применения междисциплинарных подходов в исследованиях по истории, социальной антропологии, философии, филологии, психологии, юриспруденции.

Разработаны презентации, используемые при проведении методологических семинаров, в которых представлена типология и методология междисциплинарных исследований, охарактеризовано место междисциплинарного дискурса в современном гуманитарном знании. Инновационным образовательным продуктом являются пакеты междисциплинарных учебных кейсов, предназначенные как для использования в рамках методологических семинаров, так и для самостоятельного изучения. Кейсы знакомят студентов с конкретными сюжетами и ситуациями, представляющими собой своеобразные «фокусные точки» проблемного поля междисциплинарных исследований.

Один из ощутимых результатов реализации программы МИГО – то, что уже после проведения нескольких методологических семинаров студенты предложили осуществить в рамках программы конкретный исследовательский проект с тем, чтобы, работая над ним, на практике осваивать междисциплинарные методы и подходы. В качестве «гибридной» проблемы, позволяющей соединить усилия гуманитариев разных направлений и реализовать в «проектном режиме» образовательные задачи программы, была избрана тема «Транспорт в мегаполисе».

В ближайшее время планируется создание центра, осуществляющего администрирование программы, и разработка в ее рамках трех научно-образовательных модулей: классическая гуманитаристика, социокультурные коммуникации и управление социально-политическими процессами. Модульное построение – наиболее существенное отличие программы МИГО от ее прототипа. Значение данной новации заключается в том, что это позволяет продвинуться по пути внедрения двух-

уровневой системы высшего образования. Одно из ее главных достоинств – автономность бакалаврских и магистерских программ, возможность радикально изменить образовательную траекторию на стадии перехода из бакалавриата в магистратуру – в настоящее время лишь декларируется, но не обеспечивается соответствующими адаптивными механизмами. Программа МИГО позволяет решить эту проблему, поскольку обучающимся по ней студентам легче определить круг своих научных интересов и связанные с этим образовательные запросы. В итоге, уже на стадии бакалавриата они смогут сделать осознанный выбор: либо продолжить образование в магистратуре по тому же направлению, либо посвятить себя иной деятельности. Помимо этого программа МИГО позволяет существенно расширить номенклатуру магистерских программ, вплоть до введения таких междисциплинарных направлений, которые не реализуются на уровне бакалавриата.

А. В. Юдин (МППГУ)

О преподавании историографии истории античности на исторических факультетах вузов

Историография истории античности в условиях действия ГОС ВПО второго поколения может преподаваться как раздел дисциплин «История исторической науки» или «Историография истории древнего мира и средних веков», или в качестве дисциплины по выбору студента, а также факультатива. Вне зависимости от своей кафедральной специализации каждый студент исторического факультета изучает историографию истории античности в рамках общеобязательной историографической дисциплины. В стандартах бакалавриата и магистратуры, как по направлению «история», так и по направлению «социально-экономическое образование» (с профилем «история» у бакалавров и магистров или с профилем «социально-историческая антропология» у магистров), дидактические единицы историографических дисциплин первой и второй ступеней ВПО имеют существенные отличия. Если для бакалавров предусмотрено преподавание по большей части фактологии и основ специальной терминологии, то для магистрантов предполагается делать упор на теоретические проблемы историографии. Кроме того, из стандартов следует, что содержание историографических дисциплин магистерских программ нацелено на изучение прежде всего актуальных вопросов *современного* развития исторической науки.

Вследствие преобладания фактологического содержания в стандартах подготовки бакалавров целесообразно преподавать им историографию по принципу последовательно сменяющихся друг друга разделов. При преподавании обязательных для всех учащихся историографических дисциплин в магистратуре этот принцип вряд ли следует применять ввиду преобладания дидактических единиц теоретического харак-

тера в магистерских стандартах и сравнительно небольшого бюджета времени, отводимого на такие дисциплины.

Одна из главных задач заключается в формировании понятийного аппарата, относящегося к историографии истории античности. Ключевые термины лекционного курса для бакалавров: историография истории античности, объект и предмет историографии истории античности, методологическое направление (течение), научное (исследовательское) направление, научная (антиковедческая) школа, этап развития антиковедения (историографическая эпоха, период, интервал), классический историзм, современный (плюралистический) историзм.

При работе с магистрантами ввиду жёсткого ограничения времени преподаватель может рассчитывать не более чем на шесть лекций. Поэтому целесообразно построить магистерский курс в соответствии с вопросами теории и с проблемами современного развития антиковедения. Конкретное содержание лекций для магистрантов лучше всего наполнить сведениями о деятельности ведущих антиковедческих школ России и зарубежных стран в зависимости от специфики научных интересов магистрантов. Главные проблемы лекционного курса для магистрантов: антиковедение и др. отрасли исторической науки, изучающие древний мир, динамика соотношения факторов развития антиковедения, факторы возникновения и развития антиковедческих школ, специфика научных школ (в исторической ретроспективе), организация антиковедческих исследований, междисциплинарные антиковедческие исследования сегодня, «осязаемая продукция» антиковедения, современные методологические направления, научные направления и школы в антиковедении, современное отечественное антиковедение.

Исследователям древней истории, занимающимся одновременно преподаванием историографии истории античности, надо быть готовыми к тому, чтобы в условиях реформы высшей школы сохранить теоретическое и фактологическое выверенное и обоснованное содержание, ориентированное на подготовку высококвалифицированных специалистов.

И. Р. Чикалова (Белорусский ГПУ)

Учебные программы по истории в Республике Беларусь: Репрезентация гендерной проблематики

Каким образом гендерная проблематика представлена в учебных программах по истории всех уровней, от программ кандидатских экзаменов до школьных программ по истории?

Постдипломный уровень: паспорта специальностей ВАК РБ и программы кандидатских минимумов. Гендерная история как направление впервые вошла в утвержденную в 2007 г. ВАК РБ программу кандидатского экзамена по специальности «07.00.09 – историография, источниковедение и методы исторического исследования». Вслед за

ней в утвержденном ВАК РБ в 2007 г. паспорте специальности «07.00.03 – всеобщая история» среди ее областей исследования (наряду с уже обосновавшимися там пятью годами ранее историей повседневности и ментальностей) появилась и история гендерных отношений. В разделе «Методология и теория истории» программы кандидатского экзамена по всеобщей истории присутствует понятие «гендерная история». Но среди основных разделов программы только один – «Древний мир и Средние века» содержит соответствующую тему – «Женщины в афинском полисе». Все остальные ее разделы полностью игнорируют гендерную проблематику. В то же время эта проблематика не представлена в утвержденных в 2007 г. паспорте и программе кандидатского экзамена по специальности «07.00.02 – отечественная история».

Базовые учебные программы для студентов университетов. В качестве объекта анализа выступили программы, подготовленные в Белорусском ГПУ и изданные в Белорусском ГУ. Часть программ БГПУ полностью игнорируют гендерную проблематику («История славянских народов», «Методология истории» и «История Беларуси»). Другие – «История древних цивилизаций» и «История средних веков» не прямо, но косвенно указывают на возможность в изложении материала подключить и гендерный анализ. Наиболее продвинутой в этом отношении можно считать программу БГПУ «Всемирная история Нового и Новейшего времени». Ее раздел «Новая история стран Европы и США в XIX – начале XX вв.» включает темы «Женский и детский труд» и «Женское движение». В ее разделах по Новейшей истории стран Запада присутствуют такие темы, как «Семья в социально-экономической структуре современного общества», «Проблемы семьи», «Программы, практики и социальный состав альтернативных социальных движений (экологическое, феминистское, антиглобалистское)». Изучение истории стран Азии и Африки также предусматривает рассмотрение социально-политических процессов в гендерном аспекте. Но освещения места и роли женщин в экономической, социальной и политической сферах этих регионов во второй половине XIX–XX вв. программа не предусматривает. Сквозная гендерная линия в программах не прослеживается. В программах БГУ по Новой и Новейшей истории игнорируются проблемы гендерного неравенства и его преодоления, вопросы гендерной истории представлены выборочно и неполно.

Стремление рассматривать в учебных программах структуру общества не только в классовом, национально-этническом и конфессиональном свете, но и с позиций гендера – безусловно, позитивное явление. Но в этих текстах отсутствует единый подход к гендерной проблематике; включение в программу тех или иных сюжетов зависит от личного выбора их составителей. Поэтому даже в одном документе, составленном разными авторами, присутствуют различные подходы, не

позволяющие произвести системное выявление конфигурации гендерных отношений в обществе в разные исторические периоды.

Школьные образовательные стандарты и учебные программы.

Образовательный стандарт по учебным курсам «Всемирная история» и «История Беларуси» для 5–10 и 11–12 классов предписывает изучать историю с использованием таких подходов как антропологический, психологический, формационный, цивилизационный, культурологический, этнонациональный, государственно-политический, геополитический, социальный, философский, аксиологический. В этом перечне отсутствует упоминание о гендерном измерении истории. Соответственно были составлены и учебные программы, лишь эпизодически обращающиеся к изучению тем «Положение женщин» (разделы о Древней Греции и Риме). Разделы «Славяне в Средневековье», «Цивилизации Азии, Африки и Америки» упоминаний о месте и роли женщин не содержат, а раздел «Белорусские земли в V – середине XIII вв.» ограничивается в интересующем нас аспекте лишь требованием знания религиозно-просветительской деятельности Евфросиньи Полоцкой. Практически полностью проигнорированы гендерные аспекты истории стран и народов в программах для 7–10-х классов базового и повышенного уровня, в учебных программах углубленного уровня для 9–10-х классов.

Сквозное рассмотрение гендерной проблематики в истории всех эпох и регионов позволило бы учащимся получить целостное представление о взаимодействии мужчин и женщин на различных этапах исторического процесса. С каких бы методологических позиций ни подходить к определению этапов развития человечества, в пределах каждой общественной структуры действовали не просто люди, но мужчины и женщины, роль которых была социально определена: вслед за изменениями экономической, политической, идеологической систем она претерпевала соответствующие изменения. Поэтому учебные программы и учебники при рассмотрении каждого из этапов развития общества должны показывать роль и место классов, этносов, конфессий не обезличенно или через деятельность одних только мужчин, но рассматривать в конкретно-историческом плане гендерную структуру общества, а также роль как мужчин, так и женщин в цивилизационном процессе.